

А.Ф. Пчельников

Посвящаю нашему городу.

**прости брат**  
**рассказы и повесть**

Благовещенск 2007 г.

Прости, брат рассказы и повесть.

Благовещенск,

Кадровое агентство «Персонал», - 2007г. -158 с.



© Пчельников А.Ф. 2007 г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Летите, голуби, летите...	5 стр.
2. Надеяться надо.....	99 стр.
3. Картинки детства .....	101 стр.
4. Родной казенный дом.....	103 стр.
5. Жили мы как у бога за пазухой.....	106 стр.
6. Накануне отъезда. В дождь.....	108 стр.
7. Цветы во дворе.....	113 стр.
8. Река взбунтовалась.....	114 стр.
9. Река.....	115 стр.
10. Пес Амур.....	118 стр.
11. Гостинец для дочурки.....	120 стр.
12. Человек на свалке.....	125 стр.
13. Мальчик Коля и его доля.....	131 стр.
14. Не умереть в ночлежке.....	139 стр.
15. Прости, брат.....	149 стр.
16. Мне нечего стыдиться.....	155 стр.
17. Свята ли наша память?.....	157 стр.
18. Тополя.....	159 стр.

**прости брат  
рассказы и повесть.**

Отпечатано в ООО Кадровое агентство «Персонал»  
г. Благовещенск, Амурская область, Мухина, 16  
тел.: 530-200, 32-62-92

# Летите, голуби, летите... или 11-ое сентября.

*Повесть*

*...Ах, своя ли, чужая, Вся в цветах и снегу...*

*Я вам жить завещаю – Что я больше могу?*

А. Твардовский

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**2001 г., сентябрь, 11-е число**

...Носки ботинок на ногах его были мокрые и блестели на солнце. Идя по осенней, мокрой после дождя, улице, Горохов засмотрелся на них.

...Пчельников давно уже увидел идущего по залитому водой тротуару Сергея Горохова и остановился, задавшись вопросом, заметит ли его Горохов или, как это с ним частенько бывает, пройдет, уставившись глазами под ноги, мимо. Пчельникова всегда удивляла в Горохове эта его манера ходить не отрывая глаз от земли. Правда, Горохов был человеком подслеповатым и носил очки с толстыми стеклами, но не настолько же он был слеп, чтобы не замечать окружающего его мира и не обращать внимания на проходящих мимо него людей: мужчин, женщин, девушек, знакомых и незнакомых, врагов и друзей, приятелей и товарищей по работе.

...Засмотревшись на ботинки, Горохов ненароком столкнулся с шагнувшим ему навстречу пешеходом. Он поднял глаза от ботинок и увидел перед собой лицо своего давнего знакомого...

Пчельников. Лицо в меру упитанное. Глаза внимательные. Губы плотно сжаты, но эти же губы в любую минуту могли озариться веселой улыбкой — это зависело от его настроения и конкретных обстоятельств и даже от ряда мыслей в его голове. Но что он был за человек, этот Пчельников? Это вопрос. Некоторые принимали его за дурачка, но не потому ли, что сами были людьми глупыми? Другие — просто за недалекого человека. Но сами-то они что из себя представляли, хотелось бы знать? И хотя, что чего-то стоит, этого не скроет — истина ли это по отношению ко всем без исключения? Это тоже вопрос. Что же сам о себе думал Пчельников, это было никому неизвестно. Хотя, кто же думает о себе плохо? А, впрочем — кто его знает.

— Здорово, брат, здорово! Приветствую пешехода! — приветствовал Пчельников пешехода Горохова. — Только, что это за пешеход такой, который наталкивается на тебя, как на фонарный столб, и готов сшибить с ног. Идет и не видит вокруг себя ничего, кроме асфальта под ногами...

Пчельников взгляделся в поднятые на него глаза Горохова... За толстыми стеклами его очков они казались далекими-далекими и тусклыми, словно в тумане. Лицо у Горохова оставалось все таким же бесстрастным, холодным, а глаза у него, как показалось Пчельникову, были как никогда одинокими-одинокими и в данную минуту в них было

заметно выражено чувство беспокойства, тревоги. Или Пчельникову это только так показалось?

— А-а, здравствуй, — сказал Горохов. — Извини, что сразу не заметил: задумался, можно сказать.

— Выходит, ты паришь мыслями в облаках, а глазами шаришь по земле? — спросил Пчельников.

— Парить мыслями в облаках я не приучен, в отличие от тебя, — ты ведь у нас сочинитель. Я слишком крепко привязан к этой земле, как и все на ней живущие. Шарить же глазами по земле меня приучила мать. У меня, как ты знаешь, слабое зрение с детства, и каждый раз, когда я спотыкался, мать давала мне подзатыльник и говорила: «Смотри под ноги, сынок». И вот я до сих пор не могу отвыкнуть от привычки смотреть себе под ноги: все боюсь споткнуться и получить подзатыльник.

— Но ты сказал, что о чем-то задумался?

— Да. Задумался. О грандиозном бедствии, можно сказать, катастрофе, грозящей нашему городу.

Горохов помолчал выжидательно, затем спросил:

— Скажи, ты веришь в конец света? Пожалуй, что веришь. Только в отдаленном, фантастически отдаленном будущем. Можно сказать, седом будущем. Ну а можешь ли ты представить, что наш город, вот этот, в котором мы живем, может в одночасье быть разрушен? И это «одночасье» — не в отдаленном будущем, а может случиться через месяц, через неделю, а может даже — на днях?... Быть такого

не может, говоришь?! Не веришь в это? С чего бы это так вдруг, спрашиваешь? Конечно, если допустить... А какие могут быть тут допущения, когда это непременно случится без всяких допущений. Так утверждает он, мой «товарищ детства». Да. Он предсказывает гибель нашего города в самое ближайшее время, гибель городских предместий, окрестностей и самого города, как от мощного удара урагана, грянувшего со стороны... Он убежденно предсказывает....

— Как от мощного урагана, грянувшего со стороны... — повторил про себя мой герой. — Со стороны? С какой стороны? Со стороны океана?

Он представил себе этот удар урагана со стороны океана, как вспенится, вздыбится и поднимется колоссальной волной цунами водная гладь океана и устремится на землю и захлестнет их город, разрушит его и потопит людей... Но этого быть не могло: океан был так далеко, на самом конце земли. Даже гипотетически это не могло произойти... Тогда он представил себе ураган, несущий тучи песка и пыли, как нагрянет мощная сила и погребет все под песком: дома без крыш, сорванные и разбросанные ветром, площади, деревья, и искавших спасения людей, — а когда, наконец, все успокоится и пыль уляжется, из песка будут торчать одни конструкции вышек высоковольтной электропередачи — и ни души, и тишина, только шуршание осыпающегося кое-где песка на склонах образовавшихся дюн...



Пчельников отогнал от себя это видение, вставшее перед его глазами, как наяву. Сказал:

— Это маловероятно. Нет, это просто невероятно. Это просто невозможно! Конечно, если допустить... Допустить?! Что допустить?

— Пчельников вдруг рассмеялся:

— Быть такого не может! И все тут!

— Да ты послушай! — сказал Горохов. — Почему это маловероятно? Разве в наше время может быть что-нибудь маловероятным? Да и что тут невероятного — гибель какого-то провинциального городка как наш, когда рушатся дома в самих столицах..!

Но Пчельников больше не слушал Горохова: он удалялся от него быстрыми шагами.

— Да ты послушай! — кричал ему вслед Горохов. Пчельников не слушал.

Сентябрьский солнечный, сырой, после кратковременного дождика, день продолжался. Пчельников, расставшись с Гороховым, пошел на Амурскую ярмарку, куда он, кстати, и шел, когда встретил на своем пути Горохова. Шел же он на Амурскую ярмарку, где он, надо сказать, работал разнорабочим, дворником, прессовщиком макулатуры, по одной, важной для него, причине: он был уже, несколько дней в отпуске, но по своей нерасторопности и нежеланию спешить еще до сих пор не получил причитающиеся ему деньги за отработанный прошлый месяц и так называемые отпускные,

и ему надо было их получить, чтобы наконец-то окончательно почувствовать себя свободным и не возвращаться больше мыслями к месту работы, хотя бы на этот короткий срок своего непродолжительного маленького осеннего отпуска, так нелегко заработанного и выбитого.

Вдоль фасада здания Амурской ярмарки, под арками между серых колонн, как всегда шла торговля. Он прошел вдоль одного крыла колоннады и под аркой центрального входа остановился. И тут что-то яркое пронеслось прямо перед его лицом, так что он от испуга даже отпрянул назад, вдруг вообразив, что на него что-то рухнуло сверху. Но это был всего лишь голубь. Сердитым взглядом Пчельников проследил за его полетом и вошел в здание ярмарки. Он прошел по большому торговому залу, и вскоре пассажирский лифт поднял его на самый верхний этаж. В полусвете длинного коридора по мерцающим на полу — промытым утром Тamarой Ивановной — плиткам Пчельников направился в сторону кассы. Никого не встретив на своем пути по коридору, он получил в кассе свои деньги, спустился на лифте вниз и вскоре снова был на улице вне здания.

Вот он, наконец, на свободе. Целый месяц блаженного безделья ждал его впереди. Тихой радостью наполнилось его сердце, когда он подумал об этом.

Впереди ждали его чтение книг, сочинительство очередного рассказа и продолжительные прогулки по осеннему городу.

День был солнечный. Прохладный, сырой — осенний, но солнечный. Над городом в светлом чистом небе кружила стайка голубей. Пчельников стал смотреть на эту стайку. Стайка голубей летала высоко-высоко в небе. Пчельников с пристальным вниманием следил за их полетом. Он любил смотреть, как летают в небе голуби. В их полете для него было что-то завораживающее. Каждый раз, когда он видел высоко в небе летающих стайкой голубей, ему казалось, что он видит небо всего своего прошлого — детства, мальчишества, юности. Ему даже иногда казалось, что это само небо его детства к нему вернулось — распростерлось над ним, чистое, светлое, со стайкой голубей, трепещущих крылышками в лучах теплого солнца, или это он сам вдруг возвратился каким-то фантастическим образом в свое прошлое, стал вновь ребенком и вот стоит оцепеневший и смотрит во все глаза на голубей в небе — может, даже на голубей своего старшего брата Вовки.

В это время мимо него проходило несколько молодых парней и один из них — худой, длинный, с острым, как нож, лицом вдруг оскорбительно громко крикнул:

— Наш дурачок увидел в небе ангелов;

И громко глупо загоготал. Пчельников не стал обращать на это внимание... Глупые, недалекие люди давно уже перестали его интересовать. Они только каждый раз, когда он с ними сталкивался, портили ему настроение, отравляли радость простой жизни и возвращали к осознанию того, что в жизни много грязи и немало на земле людей подлых, глупых, пустых и склонных на всякие скотские выходки и даже на бандитские поступки. «Черт с ними! — считал он. — Приходится только мириться с их существованием. Не в раю же живу, а на грешной земле. А на земле рай вряд ли построишь. Хотя это было бы очень даже хорошо — рай на земле».

Сухое, бесстрастное лицо Горохова, вещающего своим сухим деревянным голосом что-то о разрушении их города, вдруг заслонило собой перед Пчельниковым все небо. Но Пчельникову это всего лишь померещилось. Он не стал больше смотреть на небо. Он опустил глаза и пошел по мокрому, после дождика, и блистающему на солнце, чистому (Толян постарался) тротуару без всякой определенной цели и направления, просто пошел по улице города как свободный, независимый, не обремененный тяжелыми заботами человек.

Светлым вечером Пчельников был у себя дома, в своей квартире на втором этаже с балконом, выступающим во двор, сидел у окна в кресле и перелистывал купленную им в книжном магазине толстую книгу.

Юрий Трофимов «Рассказы и повести». Книга объемистая, напечатанная мелким шрифтом, внешне приятная для глаз. Но и содержание «мелкое». Комнатный быт, люди-герои — самые заурядные личности. Жизнь приземленная, нудная. Пчельникову не хотелось это читать. Он бросил книгу — кажется, купил книгу зря. Впрочем, просмотрит ее в другой раз. Заставит себя и прочтет: читал где-то о Трофимове, что он писатель хороший. «Дом на берегу». Надо бы прочитать. Одно он определил для себя сразу: написано не в монументальном стиле и не в том ритме, в каком он любил. Проза художественная, но не хватает картинности — все тонет в авторском рассказе. Но главное — мелко и не в том ритме. Учиться писать у Трофимова не стоит. Прочитает потом. Все же проза у Трофимова художественная и люди в этой прозе живые, хотя и неглубокие души — нечего у них почерпнуть для себя. Он-то уж, конечно, человек не мелкий, хотя и необразованный. И постарается написать что-нибудь получше Трофимова. Да он уже и написал несколько рассказов-текстов. Правда, кому они нужны, эти его тексты? Только ему самому. Правда, они иногда появляются в местной газете, но исчезают без единого отклика в прессе. Бесследно. Да он еще и не написал ничего стоящего... Хотя из уже написанного книжку можно составить и издать. Только кому это нужно?

«Опять — только мне самому. И никому больше», — так рассуждал, сидя в своей комнате у окна, Пчельников.

Деревья за окном, возле которого он спокойно сидел размышляя, негромко шумели. Это их листву трепал ветер. Глаза Пчельникова обратились к окну, и он стал прислушиваться к звукам, раздающимся на улице: пробежала по дороге машина; во дворах деревянных домов брехали незлобно собаки; слету сел на карниз окна воробей и, поглядев на сидящего за стеклами двойных рам человека, упорхнул, скребанув коготками по железу. Пчельников улыбнулся этому. Да, Пчельников улыбнулся, продолжая смотреть в окно на светлый вечер, на листву на деревьях, влажно блестящую на вечеряющем солнце... Вдруг он увидел идущего по залитому водой тротуару Горохова. Носки ботинок на ногах Горохова были мокрые и блестели на солнце. Горохов нес ему сообщение о скором разрушении их города — предсказание своего товарища детства. И Пчельников вдруг снова увидел дома без крыш, сорванные и разбросанные ветром, погребенные под толстым слоем песка площади и деревья и осыпающийся струйками песок на склонах образовавшихся высоких наносов на месте развалин.

— Нет, это невероятно! — сказал Пчельников вслух. — Это просто невозможно! Не может этого быть!

— Почему же это невероятно? — спросил вдруг Горохов, будто он стоял у Пчельникова за спиной.

— Не может этого быть! И все тут! — крикнул Пчельников и обернулся: он сидел один в своей комнате и Горохова у него за спиной не было. Был вечер. Было 11-е сентября 2001 года.

### **Сентябрь, 12-е число 2001 года**

О грандиозном беспрецедентном акте жестокого террора в Америке сообщили по радио и показали по телевидению поздно вечером 11-го сентября 2001 года. На следующий день об этом судачило множество людей в нашем городе. А вот о грозящем нашему городу бедствии разговора никто не вел, никто даже не думал об этом. Правда, еще до событий в Америке было два телефонных звонка — один в службу ГО и ЧС, другой в администрацию города, сообщивших о надвигающемся на город страшном бедствии. Но в службе по чрезвычайным ситуациям, и в администрации города к этому сообщению отнеслись безразлично, как к чей-то пьяной выходке или глупой шутке, даже не как к злой провокации. Потому что подобные звонки, сообщающие о заложенной где-то бомбе, о готовящемся на какого-то человека покушении, давно были не в новость и никого в определенных службах не шокировали и зачастую даже не приводили в активное действие механизмы борьбы с этими угрозами.

Кстати, эти два телефонных звонка в службу предупреждения и спасения и в администрацию города были от одного человека, того самого, которого Сергей Горохов называл товарищем детства.

...Наконец-то Пчельников увидел его, Горохова. Горохов шел через территорию школьного двора, обогнул футбольное поле и направился к проходу, который зиял между зданием самой школы и жилым домом и выводил на городскую улицу. Он был одет в черные брюки и черную же рубашку из плотной грубой ткани, надетой поверх свитера, воротник которого защищал его шею от сырого воздуха сентябрьского утра. Горохов спешил на работу. Пчельников знал, что он живет где-то недалеко отсюда, и поджидал его, здесь предполагая встретить, и не ошибся -встретил. Он окликнул Горохова. Горохов остановился. Пчельников подошел к нему.

— Ну, что ты скажешь о страшной катастрофе, произошедшей вчера в Америке? — спросил он.

О грандиозной катастрофе, произошедшей накануне в Соединенных Штатах Америки, уже успели сообщить все информационные агентства мира. Потрясенный, пораженный этим воистину грандиозным беспрецедентным крупномасштабным актом жестокого террора, Пчельников еще вчера поздно вечером вспомнил и обдумал весь их разговор с Гороховым о грозящем их городу страшном бедствии и вдруг поверил в то, что оно вполне вероятно, и решил встретиться с Гороховым, еще раз



переговорить с ним об этом деле и обсудить его уже с учетом произошедшего в Америке и предположения, что грозящая их городу катастрофа, которую предсказывает какой-то там товарищ Горохова, очень даже возможна. Еще вчера Пчельников наотрез отказался поверить в возможность такого события, и вот так, вдруг, после произошедшего в Америке, его вера в невозможность этого поколебалась и он впал в сомнение. «А вдруг это предсказание осуществится и все полетит в тартарары, — стал думать он. — Чем черт не шутит! Что, если этот предсказатель окажется прав? Хотя это, конечно, архималовероятно, но, однако, в мире происходит такое, что впору засомневаться в прочности его устоев и своей убежденности, что все стоит непоколебимо и все пророчества — пустые бредни...»

И вот он встретился с Гороховым рано утром на территории двора одной из школ и заговорил с ним. Но, когда он заговорил с Гороховым, то был обескуражен, удивлен тем, с каким равнодушием, даже безразличием отнесся Горохов к охватившему его беспокойству.

Но всего больше поразило Пчельникова то, что Горохов еще не знал о несчастье, постигшем Америку, о разрушениях и человеческих жертвах.

— Ты еще не знаешь, что произошло в Соединенных Штатах Америки?! — спросил удивленно Пчельников Горохова, почему-то считая, что все об этом уже знают, а Горохов — тем более.

— Видишь ли, я смотрю телевизор редко, а радио ни вчера, ни сегодня не слушал, — ответил на это Горохов. — Да и что тут произошло такого особенного, что ты так разволновался и пришел в беспокойство? В Америке разрушили, взорвали, как ты говоришь, несколько небоскребов и есть человеческие жертвы? А разве у нас самих, в нашей стране, не взрывают каждый день дома, не разбиваются самолеты, не тонут подводные корабли? Да сколько угодно. А вот недавнее сообщение в газете: на заброшенном песчаном карьере завалило нескольких игравших там малолетних детей. Это разве не катастрофа для их родителей? Что же касается пророчества моего товарища детства — я вчера же об этом хорошо поразмыслил и пришел к выводу, что это все пьяные бредни этого моего товарища детства. Пусть два его предсказания — а это сущая правда — сбылись, но это его последнее пророчество на счет гибели нашего города — сущий бред. Я вчера об этом хорошо подумал и пришел к такому вот заключению. Еще я хорошо сегодня выспался и это вчерашнее наваждение как рукой сняло. Да ты сам посуди, с какой стати вдруг и откуда обрушится на наш город какое-то грандиозное бедствие! Не террористы же его взорвут? Для них он мало привлекательный объект и не представляет для них никакого интереса. Ну посмотри вокруг, кому нужны эти дома, — и словно убеждая Пчельникова в своей правоте, Горохов повел носом во все стороны, и

толстые стеклышки очков его при этом так и блеснули, вспыхнули на мягком сентябрьском солнышке.

— И все же я хотел бы узнать от тебя подробности разговора твоего с твоим товарищем детства и о нем самом: что он за человек, можно ли ему верить. И еще я хотел бы на него взглянуть, чтобы самому составить о нем свое собственное мнение, - сказал Пчельников.

Договорились: они сегодня еще раз встретятся, все обсудят и Горохов поведет Пчельникова к заинтересовавшему его человеку — провидцу, предсказателю будущего. Сейчас же Горохову было некогда: он спешил на работу.

— И чего это я вдруг так разволновался, растормошился? — думать стал Пчельников, оставшись один. — В самом деле, с чего бы это вдруг наш город будет разрушен какой-то стихией? Какая стихия? Какое бедствие? Просто я, кажется, на этом начал сходить с ума, спятил. К черту — это! Надо успокоиться и забыть!

Но Пчельников чувствовал, что это засело в него крепко, и беспокойство в его сердце не унималось и даже начинало почему-то медленно, но неуклонно возрастать. «Пока сам не гляну в глаза этого доморощенного провидца и не буду убежден, что он фантазер или враль, не успокоюсь и не забуду», — решил он. И от принятого решения почувствовал, что в сердце его вернулся покой. Радость простой без

тревог жизни опять заплеснула его, как теплой волной: такие уж у него были резкие перепады настроения: от тоски, отчаяния — к радости, бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне; от сомнения в прочности устоев земного мира и вечности жизни — к непоколебимой вере в обратное: в прочность устоев мира и вечность жизни и человечества.

...Вслушиваясь в звуки, раздававшиеся на улице, Пчельников поджидал прихода Горохова в том же самом дворе с футбольным полем и спортивной площадкой, где он с Гороховым сегодня утром уже встречался. Звуки были разные: где-то прокричали мальчишки и смолкли; пискнула, пролетая над ним, птичка. А вот раздались шаги. Громкие, семенящие. Пчельников обернулся: мимо него проходил человек в детской, тесной ему, куртке, с лобастой, умной на вид головой. Но тут Пчельников увидел Горохова и все внимание переключил на него.

— На хрена он тебе сдался, этот человек! Он в последнее время пьет горькую не просыхая и, наверное, пришел в состояние белой горячки, попросту сошел с ума. Психоз, мания на катастрофы — вот что у него, по-моему! — сказал, встретясь с Пчельниковым, Горохов, когда сразу же при их встрече был упомянут тот человек, которого Горохов обещал показать Пчельникову и может даже познакомить его с ним. Горохов был в состоянии раздражения. Пчельников это сразу уловил, потому

что проявление этого состояния — раздражения — он часто замечал и в себе, когда после продолжительного канительного рабочего дня он возвращался домой и тут его кто-нибудь начинал дергать пустыми, не идущими ни к какому важному делу вопросами и донимать пустыми, глупыми разговорами. Но Пчельников уже не хотел отступать от для себя намеченного и, хотя краешком сознания он понимал, что занялся не вполне серьезным делом, что даже представить, что вот этот наш город такой простой, обыкновенный, в котором они с Гороховым живут, вдруг в одночасье постигнет какое-то страшное невообразимое бедствие в такой ясный, такой тихий, как сегодня, день, как предсказывает какой-то там доморощенный пророк, это просто абсурдно, он решил все же довести намеченное до конца и лично убедиться в абсурдности этого пророчества, окончательно успокоиться и спокойно продолжить свои домашние дела — жить и писать свои ненужные никому рассказы и может даже взяться за сочинительство романа, который, конечно же, придется писать не один месяц, а может даже и год. Но если же несчастье предсказано взаправду, как неотвратимое и обязательное к исполнению, то браться за что-либо серьезное, конечно же, не стоит — ни к чему, да и не успеет. Правда, какое, к черту, может случиться бедствие среди ясного дня?!

Землетрясение? Ураган? Смерч?  
Бактериологическая атака? Ядерный взрыв??

Огромной волной накроет их город? Это даже смешно представить...

Пчельников даже хотел рассмеяться от этих своих мыслей, но смех у него не получился.

— Ну что ж, если тебе так необходимо видеть этого человека, то пойдем со мной: я тебя, с ним сведу и познакомлю. Только пустейшее это дело и выеденного яйца не стоит, — сказал, наконец, Горохов. И он, и Пчельников пошли по улице к дому, в котором жил этот самый прорицатель будущего, пред-рекший нашему городу какое-то катастрофическое бедствие, не совсем ясно пока что из себя представляющее.

— Вот он, дом, в котором живет этот мой «товарищ детства», — сказал Горохов. — Кстати, я тоже живу в этом доме, в первой квартире.

— Какой здесь всегда странный звук, — сказал Горохов, когда они вошли в дом и стали подниматься по лестнице. — Это оттого, наверное, что на всех лестничных площадках выбиты начисто стекла.

На полу лестничных площадок лежало, мигая, солнце. На нем шуршали лежащие и тревожимые ветерком листья. На одной из площадок Пчельникову даже почудилось, что он идет по какому-то саду. Он остановился и глубоко вздохнул... Пахло увядающими листьями, тлением их и теплом нагретых солнцем ступенек, ведущих вверх. Звуки, залетающие на лестницу через окна с улицы, были словно далеко-далеко и заносились сюда ветерком

будто невесть откуда. Но шум листвы иногда был слышен отчетливо, ясно.

— Здесь он живет, — сказал Горохов и показал на дверь, от которой на Пчельникова вдруг пахнуло холодом. Холодом ледяной вечности. До этого на него веяло осенней прохладой. А тут дохнуло, как лютой зимой, холодом.

— Звони, - сказал Пчельников. Лицо у него сделалось суровым. Он был встревожен предстоящей встречей.

И что же? Дверь им открыла старушка со светлым лицом и совершенно рыжая. Светлая, морщинистая и рыжая. Голос у нее оказался не старчески слабым и хриплым, а звонким, сильным. Глаза у маленькой старушки были не выцветшими, а ясными, живыми.

— Давно же я тебя у нас не видела! Сережа! — воскликнула она, увидя Горохова.

— Да ну, Александра Григорьевна. Вчера только мы с вами разговаривали, — сказал старушке Горохов, и по интонации его голоса было ясно, что он разговаривает с ней запросто и охотно. — Помните, еще говорили о вечности и бессмертии души.

— Да разве вчера это было? — спросила старушка.

— Ну конечно вчера, почти в такое же время, — ответил Горохов и тут, показав глазами на Пчельникова, сказал: — Да, вот рекомендую — Пчельников Александр. Тот самый, статьи которого

иногда печатали в местной газете, вы еще всегда их хвалили и говорили, что этот Пчельников пишет совсем неплохо. Вот - это он.

— Проходите, пожалуйста. Будьте нашим гостем, — сказала старушка, обратившись к Пчельникову. — Мне давно Сережа о вас рассказывал.

Квартира, в которой жил пока еще не увиденный Пчельниковым провидец, была просторной и светлой, с широкими окнами. Но что удивило Пчельникова в этой квартире, так это стоящее в комнате пианино. Музыкальный инструмент был большой, но выглядел, как аккуратная, блестящая игрушка. Он был блестяще - черным, лакированным. Поверхностью своей он бликовал, как лужа масла, разлитого на черном паркете. Казалось, что он звенел и струны в нем звенели — такой у него был броский, звонкий, если можно только так сказать, вид.

— Хотите, я вам что-нибудь сыграю и спою, — предложила вдруг своим гостям старушка. Она села за пианино. Для Пчельникова все это показалось странным и даже несколько для него лично диковатым. Он привык видеть вокруг себя жизнь грубую, не лиричную, не музыкальную и людей без лирики и музыки в душе и поэтому был поражен этой выходкой маленькой старушки со счастливым лицом, севшей за инструмент и заигравшей на нем.



Она заиграла, она запела. Он слушал пораженный. Он чуть ли не плакал, когда она закончила петь.

— Так вы тоже считаете, что душа человеческая смертна и не живет в вечности? — спросила она вдруг и сказала очень даже твердо: — Я так не считаю. Душа бессмертна. Она живет в музыке, а музыка звучит в вечности. И наш провидец не прав, он там, в той комнате, пишет завещание. Но разве можно завещать кому-нибудь свою душу. Настоящая душа живет вечно и принадлежит всем и вечности. И не надо писать никаких завещаний.

Душа. Музыка. Вечность. Душа. Музыка. Вечность. Слова эти забили сознание Пчельникова, как куски прозрачного горящего на солнце льда забивают узкую горловину в русле весеннего, бегущего под гору, звонко сверкающего под солнцем ручья. И вдруг затор прорвало, душа вздохнула свободно и в сознании Пчельникова зазвучало:

«Душа в музыке бессмертна! Солнце сверкает в музыке! Душе не грозит забвение, когда она перелилась в музыку. Когда она стала музыкой..! Потому что музыка бессмертна..! Пока живет человечество..!» — добавил он вдруг к своим мыслям и вздрогнул, точно очнулся — это он вспомнил о предсказании: о скорой гибели нашего города и, следовательно, его жителей — части человечества, к которой и он принадлежал. «А ведь они иногда сбываются, - подумал он. - Какой-то ребенок на

листочке бумаги нарисует картинку, на которой воздушный лайнер врежется в здание колоссального небоскреба всемирного торгового центра, и через какое-то время в этот небоскреб уже наяву, в действительности, врежется воздушный лайнер и небоскреб падает, разрушается. Случайное совпадение? Игра случая? Или предвидение, предчувствие трагедии? Кто это знает? Кто разгадает эту загадку? И может случиться так, что этот провидец, пишущий уже завещание, окажется прав... А я тут слушаю музыку и не могу с ним поговорить, взглянуть на него...»

— Спроси, можно ли мне его увидеть? — шепнул Пчельников Горохову, когда старушка опять заиграла. — Мне надо его увидеть...

— Нет, нет и нет. Он даже мне запретил его беспокоить. Сидит, думает и пишет... А что ему писать и зачем, если все, как он говорит, в скором времени станет прахом, ляжет пылью, зарастет быльем, и нас всех забудут? И с чего это он взял, что все зарастет быльем что все ляжет прахом? Чудной человек. Не верьте ему. Я вот не верю, играю себе на пианино и пою... А он утверждает, что все вокруг готово обрушиться...

Пчельников прорицателя так и не увидел. Надо было уходить. И он с Гороховым вскоре — не сразу, правда, — вышли из квартиры счастливой музыкантши-старушки.

Ступив за дверь, он вдруг увидел голубей, летающих и кружащих за окном лестничной площадки. Голуби летали совсем рядом. Пчельникову даже показалось, что он слышит хлопки их крыльев и легкие посвистывания, поскрипывание упругого воздуха, рассеяемого перьями их сильных хвостов и крыльев. И ему вдруг вообразилось, что он вознесся на небо: когда они с Гороховым входили в дом, голуби кружились маленькой стайкой высоко-высоко в светлом небе, а тут вдруг оказались рядом, сразу за окном, почти на уровне его глаз. В душе Пчельникова запели какие-то тайные струны, и он, спускаясь по лестнице, вдруг стал напевать, удивляя Горохова, какую-то песенку. Лицо у него было светлым - мрачность сошла.

— Я тоже начну писать завещание, — сказал он и спросил у Горохова: — Скажи, почему ты называешь его товарищем детства, ведь, как я понял, он — старик, этой старушки муж или может быть брат?

— Ты забыл, наверное, что еще совсем недавно мы ко всем обращались со словом товарищ: товарищ кондуктор, товарищ женщина, товарищ Иван Иванович. А я этому жильцу высоко над нами «товарищ дядя Саша» говорил. Вот он и стал для меня «товарищем детства», — ответил Горохов.

— И что, он в самом деле что-то предсказал и сбылось?

— Да, предсказал и сбылось.

С таким разговором они вышли на улицу.

— Да, а ты-то что со мной идешь? Ты же сказал, что живешь в этом же доме?

— Тебя решил немного проводить, — ответил Горохов Пчельникову. И здесь Пчельников и Горохов расстались. Как оказалось, в тот день они расстались навсегда.

**2001 г., сентябрь, 15-е число**

Он пил на кухне кофе.

... Форточка на кухне была распахнута до предела. Слышно было, как кричат во дворе дети; голошение их было отчетливое, как это бывает только в осеннем, пустом и студеном воздухе. Работал под окном мотор чьей-то машины. Пахло дымком где-то далеко горящих и дымящих костров, наверное, в далеких садах еще сжигали палую листву, сухую траву и спиленные с деревьев сучья.

Каждый день в этот час передачи центрального радио на время прерывались и в радиоэфире звучали голоса местных радиодикторов. Так было и на этот раз — как всегда. И в этот час из новостей, переданных по местному радио, Пчельников узнал об обвалившемся в городе пятиэтажном доме. Как было сообщено, вчера вечером в такой-то час на такой-то улице обрушилось правое крыло пятиэтажного дома — весь лестничный пролет его, что есть жертвы, что

идет разборка завалов и извлечение из этих завалов пострадавших — живых и мертвых.

Рука у Пчельникова, пившего на кухне кофе, дрогнула. Он отставил кружку с кофе, напряг слух. Но дополнительных сообщений о рухнувшем в городе доме не было, а начали что-то говорить о местном зоопарке. Потом по радио стали передавать музыку. «Летите, голуби, летите...», — зазвучала по радио знакомая ему с детства песня. И тогда в его памяти возникли лестничные марши, лестничные клетки дома, в котором жил Горохов, и еще — голуби: они летали за узкими окнами с выбитыми напрочь стеклами и шуршали, посвистывали крыльями и даже иногда садились на грязные карнизы-отливы, взметая, тревожа на них залежавшуюся, не раз уже промоченную дождиками и высушенную солнцем пыль. Подумав о доме, в котором жил Горохов, где он два дня назад был и проходил по лестничным маршам, по их ступенькам, присыпанным сухими листьями, которые нанесло туда ветром, поддувающим в окна, Пчельников не колеблясь вдруг решил для себя, что рухнул именно тот дом, та часть дома, в котором жил Сергей Горохов.

Охваченный беспокойством и нетерпением убедиться в своей правоте, Пчельников решил сходить и посмотреть на тот дом.

Когда он вышел на улицу, то был, почему-то, поражен тем, как пусто вдруг стало в воздухе городских улиц. Это с деревьев опали за ночь листья,

и их унесло все куда-то ветром. Деревья стояли все голые, и их ветки четко прорисовывались на фоне студеного неба. Воздух улицы был сырым. Но дышалось этим воздухом легко. И, шагая по улице, Пчельников жадно дышал им, ощущая во всем теле легкую дрожь, похожую на пробегающую по телу судорогу.

Тот дом — верхние этажи его — он увидел еще издалека, с того самого места, где два дня назад он разговаривал с Гороховым, - с территории обширного двора средней школы; отсюда было отчетливо видно, что то крыло дома, где жил Сергей Горохов, было обрушено: там что-то чернело, торчало и вызывало своим видом жуть. Увидевшему это Пчельникову расхотелось идти к тому дому. Он потоптался на месте и пошел в противоположную от дома сторону.

«Пророчество частично исполнилось, — подумал он. — Или началось уже исполняться... Это начало. Провидец оказался прав. Теперь можно ждать всякого...»

Через какое-то время его можно было увидеть стоящим возле здания бывшего кинотеатра «Амур», переоборудованного в зоопарк. Да, в зоопарк, где животные и птицы содержались,

в бывшем фойе и на улице, во внутреннем маленьком дворике, а зрительный зал оставался пустым (использовался для других целей).

Пчельников вспомнил, что сегодня по радио передали, что этот зоопарк решено закрыть. Он уже

не один раз посещал этот зоопарк. Решил зайти и сегодня, чтобы немного рассеяться, прийти в себя после этого инцидента с домом... О гибели Горохова он, однако, при всем при этом, не думал. Он в это мало верил и не мог себе это даже представить.

Но у него в душе было такое чувство, будто он вдруг осиротел. Хотя Горохов для него был никто — просто человек в толпе, лица которого почти невозможно разглядеть и голоса которого не слышать, Пчельникову было его жалко, жалко было его потерять навсегда, ведь, теряя кого-то, мы теряемся для кого-то сами и теряемся, страшно подумать, навсегда, на веки вечные, падая в какую-то пропасть. Говорят: уходим в Лету. В какую Лету? И сколько людей и событий в этой Лете уже кануло? Невообразимо даже. Нелегко даже помыслить об этом.

Пчельников ходил по холодному залу, смотрел на животных в клетках, пресмыкающихся, птиц, аквариумных рыбок... Аквариумные рыбки всегда особенно привлекали его внимание. И сегодня тоже особенно привлекли его к себе эти большие аквариумы — стеклянные, наполненные водой; в этой прозрачной воде красовались морские водоросли; дно аквариумов было устлано камешками, раковинами и желтым песком; со дна вверх, сквозь толщину воды стремясь на поверхность, то там то сям поднимались серебряными шариками разного диаметра пузырьки

атмосферного воздуха — обогащали кислородом воду.

Среди этой морской красоты сновали рыбки. Некоторые виды рыбок плавали важно, степенно шевеля плавниками. Другие вели себя в воде, как ведут себя непоседливые и непослушные дети. Каждый вид рыбок имел свою окраску и присущие только этому виду плавники и манеру движения.

Пчельников любил смотреть на аквариумы. Когда-то в далеком мальчишестве он тоже пытался держать у себя в доме, стоявшем на окраине города, — родительском — аквариумных рыбок.

До сих пор остались в его памяти названия некоторых рыбок: гуппи, меченосцы; и еще он помнил названия аквариумных рыбок. «Как их называют, этих рыбок? — Пчельников напряг свою память. — Гуппи, меченосцы, а этих называли... как же, как же их..? нет забыл».

Сколько не напрягал он свою память, он так и не смог больше вспомнить другие названия. Гуппи и меченосцы — были пределом его знания аквариумных рыбок. Те же, что он видел сейчас и мог прочесть их названия на табличках, были не в счет. В счет были только названия рыбок, сохранившиеся в его памяти.

...Мозг его устал. Он не хотел больше думать о рыбках, и он пошел дальше по залу. Потом он вышел на улицу во внутренний дворик здания зоопарка. Там в вольерах и клетках содержались крупные животные



и птицы: коршун, ворона, дикие голуби... В самом конце двора сидели в клетке два медведя.

Когда он смотрел на волка, ему показалось, что тот смотрит на него с хитрецей, притворяясь, что он простая собака, так поразительно похожая на волка. Медведи же в клетке не обратили на него никакого внимания. Один из них лежал в углу за каким-то деревянным строением, наверно, долженствующим заменять берлогу. Другой — метался по тесной клетке туда-сюда и, задрав морду, ревел, видно, просился на свободу. Пчельников не смог долго смотреть на медведей. Он ушел из зоопарка, вдруг испугавшись этой железной, тяжелой, с толстыми прутьями, клетки и несвободы, запертости в ней медведей.

...На улице погода стояла все такая же — прохладная и солнечная. Какой-то мальчишка стоял возле здания кинотеатра и глядел в небо: в небе летали голуби. Пчельников тоже стал внимательно следить за их полетом. Вдруг он - услышал, как над ним в небе, там, высоко — высоко зазвучала знакомая ему с детства песня "Летите, голуби, летите". «Я тоже стану писать завещание», — вспомнил он слова, произнесенные им позавчера в разговоре с Гороховым накануне его гибели, тогда, когда он с ним спускался по лестнице, по той самой лестнице и в той части дома, которые на следующий день обрушились. И он уже вслух ясно проговорил, увидев этим стоящего рядом мальчишку:

«Душа перельется в музыку. Музыка зазвучит в вечности. Потому что музыка бессмертна».

2001 г.

*ЧАСТЬ ВТОРАЯ*  
**2001 г., 15 сентября**

Стоя возле подъезда жилого пятиэтажного дома, женщина кого-то долго, настойчиво поджидала. Когда на тротуаре показался Пчельников, который вышел из-за угла дома и пошел в её сторону, женщина, увидя его, вздрогнула и тоже пошла по тротуару навстречу Пчельникову. Женщина Пчельникову показалась знакомой, но где он мог её видеть раньше, он не мог вспомнить. Только уже подойдя к ней вплотную, увидя её лицо с глазами полными одиночества и горя, он вспомнил: «...Горохов! Тётка Горохова! Ну да, это же тётка Горохова!» Когда-то, давно, Горохов познакомил его с ней. Вернее, просто его ей представил, так, шутя, не совсем серьёзно. Они тогда случайно встретились на улице, и Горохов, шедший куда-то вместе с этой своей тёткой, сказал ей, указав на него пальцем, с какой-то шутейно-язвительной улыбкой на губах: «Вот, тётя, — Пчельников! Сочинитель статей. Когда-нибудь о нём заговорит наш читающий город. Из-под его пера уже

начинают выходить шедевры. Дело остаётся только за признанием этих шедевров. Но их покаместь все игнорируют — не доросли ещё до них, так сказать...». На этот шутейно-язвительный выпад Горохова женщина мягко сказала, что она читала рассказы Пчельникова в газете и находит, что они совсем неплохие, а то, что Серёжа так язвит, так это потому, что он сам когда-то пробовал писать, но ничего у него не получилось из его потуг, и он это дело бросил. «Да не писал я и не хотел писать никогда! - отмахнулся раздражённо Горохов. — Только так, раза два попробовал писать, да и бросил. Что впустую время убивать, как будто поважнее дела нет! А то все пишут, пишут, а никто эту их писанину не читает...»

Да, был такой разговор на улице между ним, Гороховым и его молодой ещё тёткой. С того дня он больше её не видел. И вот снова увидел — она сама его зачем-то нашла. И Пчельников, как только её увидел, сразу понял зачем.

Речь зашла, как он и предполагал, о похоронах Горохова, её племянника. Женщина звала его прийти проводить в последний путь её Серёжу и назвала адрес, откуда будет вынос гроба. Оказалось, что вынос Горохова будет из её квартиры, из дома, в котором она живёт, а дом этот стоит рядом с домом, в котором жил Серёжа Горохов, что у них общий двор, так что ему её дом искать не придётся, ведь, где Сережа жил, он знает.

Пчельников даже не предполагал, что ему надо будет идти на похороны Горохова, что его кто-то позовет на эти похороны. Он не знал об этих похоронах и не стремился попасть на них. Ему было не до чьих-то похорон. Да и тяжело ему было всегда видеть чьи-либо похороны. «Вот некстати-то», - подумалось ему тогда. Но на настойчивое увещевание женщины прийти и отдать последний долг покойному Серёже, он вынужден был выдохнуть из себя:

— Хорошо. Я приду. Ведь мы были с ним хорошими знакомыми. А было время, что и работали вместе на одном заводе.

Женщина поблагодарила его за обещание прийти и ушла. А Пчельников постоял у подъезда дома, потоптался, размышляя о случившейся с ним непредвиденной истории, потом вошел в подъезд, поднялся по лестнице к своей квартире, вынул из кармана ключ, отомкнул дверь и вошел в квартиру.

В квартире было как всегда тихо. За окном дальней комнаты мирно светило осеннее солнце. Это окно было видно из прихожей в дверной проем, правда, только кусочек его. На кухне было включено радио. По радио передавали какую-то музыку — тихую, скрипичную.

Он разулся, надел тапочки, вошел в ванную комнату, совмещенную с санузлом, умылся из-под крана горячей водой и из ванной прошел на кухню.

Форточка на кухне была всё так же, как утром, распахнута настежь. Он сел на кухне за стол, хотел

налить себе крепкого кофе, но передумал... Потом вдруг поднялся и пошел в свою комнатку — дальнюю, маленькую. Сидя на кухне, он вдруг подумал о своих вырезанных из газет рассказиках, аккуратно им собираемых и накапливаемых в течение нескольких лет, и решил ещё раз их просмотреть, перечитать, сложить все в конверт, положить этот конверт в карман и направиться с этим конвертом в места, где людям оказывают компьютерные услуги — занимаются набором рукописного текста, распечаткой, брошюровкой. Он давно уже хотел это сделать, да всё откладывал на потом, а сегодня вдруг резко решил: надо из собранных им газетных вырезок с его рассказиками и рукописных текстов срочно сделать полноценную, с печатным текстом и сброшюрованную рукопись, которую можно было бы без стыда показать любому лицу, какому только вздумалось бы ему её показать. Показать же свои рассказы он задумал какому-нибудь местному литератору, чтобы узнать его профессиональное мнение о своих сочинениях и спросить, можно ли и как сделать из рукописи книжку — настоящую, с обложкой, в твердом переплете и даже, если это возможно, с картинками, как он это любил.

Пчельников просмотрел свои газетные вырезки, сложил их в конверт и вышел с этим конвертом в кармане из дома.

В этот день до вечера он бегал по городу — приводил в исполнение задуманное. И преуспел в

этом: все свои газетные вырезки он отдал для перепечатки в места, где компьютерные услуги оказывались; раздал по разным местам и по частям, чтобы быстро к завтрашнему вечеру все было сделано. Так что завтра ему только останется все листы с напечатанными на них текстами его рассказов собрать, скомпоновать, сброшюровать, перед этим сделав с них на всякий случай, тоже для дела, две-три копии, и уже после всего этого начать делать шаги и предпринимать меры к доставке рукописи в руки человека, сведущего в делах литературных и издательских.

Спать он лёг в этот день с чувством удачно, успешно выполненной им сегодня заданной себе работы, но и с некоторым тайным, прячущимся где-то в глубине его сердца унынием, вызываемым у него мыслями о предстоящих завтра похоронах Горохова.

Телевизор он в этот вечер не включал, лёг очень рано; лежал и всё думал о жизни и о своем завещании — большом прозаическом сочинении, в которое бы перелилась его душа, её музыка, музыка души его.

...Он лежал в своей комнате на своей кровати с лицом, обращенным к окну, за которым мерцали звезды, и уносился в мечтах своих чёрт знает куда...

## **2001 г., 16-е сентября**

Он не хотел идти на похороны Горохова, но сказал себе: «Надо», — и пошёл. Пошёл он загодя,

когда десяти часов ещё не было. Войдя в знакомый ему двор, он первый раз прямо в лоб посмотрел на дом с обрушенным левым крылом. Завалы были уже разобраны, и уже начались строительно-восстановительные работы. Так что ничего жуткого он уже не увидел, хотя дом с провалом выглядел фантастично. В самом деле — провал, пустота, и сквозь эту пустоту пролетают вороны, сороки и голуби.

Двор, в котором он оказался, был пустынным. Но у дальнего подъезда другого дома, фасадом своим обращенного в этот же двор, толпились люди, и ещё туда подходили. Пчельников пошёл к этим переминающимся у подъезда людям и, присоединившись к ним, стал присматриваться и прислушиваться. Как видно, о покойном уже наговорились и теперь разговор вели о разрушениях, наводнениях, дорожно-транспортных и железнодорожных происшествиях и совсем недавних катастрофах, случившихся в стране и мире. А одна какая-то старушка в жёлтеньком измятом плащике, вся пригнутая к земле, беззубая, трясущаяся, упёршись в землю своей палочкой, за ручку которой держалась обеими трясущимися руками, всё что-то кричала об Астрахани или об астральном хане — не понять было. Голос у неё был резкий, она словно выкрикивала слова, вырывала их из себя. Но старушку никто не слушал, пока не влез в эту кучку людей мужчина с седой, подстриженной аккуратно

бородкой и с приплюснутой на голове кепи и не заговорил с ней.

— Вы, наверное, не об Астрахани и не об астральном хане говорите, а об Астрахановке?! — помог он разобраться старушке в её несурянице. — Так там спиртной завод...

— Вот, вот, вот, — обрадовалась оказанной ей наконец помощи в растолковании интересующего её вопроса старушка, и глаза у неё ещё больше заслезились, а голос сделался ещё более резким, крикливым, хотя и не громким:

— Жилица из верхней квартиры мне тогда говорила именно об этой Астрахане. А ей говорил что-то об этой Астрахане её сумасшедший брат. Мол, что-то там должно случиться в ближайшее время ночью, что-то должно там случиться... А то, что с ними случится, и не догадывалась даже...

Увидя Пчельникова, мужчина с седой бородкой и приплюснутой на голове кепи ухмыльнулся чему-то и подошел к нему, бросив старушку, которая потянулась за ним своей палочкой, видимо желая его удержать возле себя и что-то договорить ему, но единственный её внимательный слушатель, оказавшийся к её радости рядом, бросил её, и больше бабулю уже никто не слушал.

— Ну, что там? Был в квартире? — спросил он у Пчельникова так, точно давно и хорошо его знал.



— Говорят, он лежит уже в заколоченном гробу, — продолжал говорить мужчина с бородкой, в кепи и хитрецей в глазах.

— А вот и похоронный оркестр приехал. Говорят, завод, где он работал, заказал его и предстоящий поминальный обед оплатил. В наше время такое нечасто случается. Ну да ладно. Пойду, найду посмотрю на покойного, попрощаюсь...

Мужчина с седой бородкой и в кепи вошёл в подъезд дома, Пчельников вошёл за ним следом, хотя ещё минуту назад не решался на это.

Вдвоём с этим сообщником — мужчина в кепи впереди, Пчельников за ним сзади — они вошли в квартиру, зашли из прихожей в комнату и тут в комнате у дверного проёма встали. Свои кепки они теперь держали в руках. Пчельников отметил для себя, что у его незнакомого сообщника, почему-то державшегося с ним запросто, даже чересчур запросто, голова была лысая. Большое окно в комнате было зашторено, в комнате царил полумрак, но всё равно лысина на голове его сообщника блеснула.

Гроб с Гороховым стоял посредине комнаты изголовьем к окну. Гроб был закрыт крышкой. Покойник был, положен в гроб и закрыт крышкой ещё в морге. Покойника не было видно, но он там, в гробу, несомненно, лежал, раз люди сидели по сторонам от него на стульях и смотрели на него не отрывая глаз. Одним из тех, кто смотрел на гроб, была тётка Горохова. В изголовье гроба стоял

большой портрет Горохова, тётка Горохова смотрела на этот портрет, и на глазах её стояли поблёскивающие в полумраке комнаты крупные слезы. Слезы были большие, как стеклянные бусинки. На губах её лежала неподдельная скорбь. Скорбела ли она о племяннике или о старшей своей сестре, матери Серёжи, сейчас лежащей в больнице при смерти, думала ли о предстоящих ей ещё одних похоронах в ближайшие дни? Кто это знает? Наверное, скорбела и думала обо всём сразу, как это в таких случаях бывает. Пока же перед ней был этот один гроб, а в нём — её племянник Серёжа, и была ещё его большая фотография в чёрной рамке, с которой он всем улыбался. Пчельникову даже показалось, что Горохов на фотографии смотрит прямо на него и именно ему вежливо улыбается, говоря этой своей улыбкой, что вот, мол, завершилась его жизнь и, к сожалению, так неожиданно и нелепо в результате, так сказать, непредвиденных обстоятельств, и ничего тут уже не поделаешь, не попишешь. Как говорится: судьба.

...Ведущему это повествование рассказчику, то есть мне, автору, можно было бы описать эти похороны Горохова обстоятельно, подробно, не упуская никакие детали, но это описание растянулось бы на много страниц, а это, пожалуй, ни к чему и никому не нужно и не интересно; хотя, следуя логике событий, вернее, естественному ходу вещей, потоку, течению, так сказать, самой жизни, это и надо было бы сделать, но я это делать не буду, потому что

описание заняло бы не только много страниц моего текста, но и отняло бы на прочтение его у вас, моего читателя, много вашего драгоценного, я думаю, времени.

...В общем, я переношу вас, читатель, сразу на кладбище. Вернее, не вас, а героя моего рассказа Пчельникова, переношу в тот момент, когда гроб с телом Горохова уже опустили в могилу, когда отзвенели тарелки в похоронном оркестре, отбухал в скорбной мелодии барабан: бум - бум, отголосила прощально труба — пронзительно и надрывно, и могильную яму стали засыпать землёй с помощью штыковых и подборных лопат парни — товарищи Горохова по работе.

Итак, когда гроб с покойным Гороховым уже лежал на дне могилы, ему предназначенной, и эту яму закапывали поспешно несколько поджарых молодцов — товарищей — уже бывших — Горохова, Пчельников пошёл побродить по кладбищу между могилами. За ним следом увязался и мужчина с седой бородкой и приплюснутой на лысой голове кепи — видать, тоже решил посмотреть на могилы, поразмяться. Но он скоро от Пчельникова отстал, сбился с пути, застряв возле могил с красивыми надгробиями из мрамора, на этом кладбище единичными.

Ступая между могилами, Пчельников иногда останавливался, обозревал всё кладбище целиком и удивлялся: как много вокруг него безмолвствующих могил, и даже попадаются ему на глаза могилы

совершенно безымянные, с отшелушившейся на металлических надгробиях краской. Ещё Пчельников удивлялся тому, как быстро оккупируется пустующая земля могилами. Когда он хоронил свою мать, здесь, на этом кладбище было всего три ряда могил, а та земля, что тянулась на север, холмистая лесостепь, была голой, поросшей травой да деревцами - кустарниками. А теперь?! Теперь всё было занято могилами. И туда, на север, тянулись ряды надгробий, сначала на плоскости, слегка поднимающейся к северу, а потом дальше, на плоскости снисходящей... Горохова же хоронили почему-то посреди кладбища близ дороги — видно, здесь обочь дороги оставалось пустующее место, вот и решили его заполнить, чтобы не пропадало зря — в угоду дикой траве... Гуляя по кладбищу, Пчельников посматривал на небо: оттого, что земля бугрилась могилами, небо, казалось, было значительно ближе к земле, чем тогда, когда хоронили его мать, и земля вокруг была голой: она шуршала на вольном ветру сухой травой, и сильно пахло холодной, но уже чувствующей приближение весны степью.

Одна могила привлекла внимание Пчельникова особенно. О нет, это не была могила его матери — он её не искал, да и не был уверен, что именно на этом кладбище, на котором он сейчас находился, она была похоронена: кладбищ здесь, в этой округе, было так много, что заблудиться можно было запросто. Это была могила человека, которого он когда-то знал,

виделся с ним, разговаривал, с которым долгое время работал на одном большом предприятии — швейной фабрике и даже с которым иногда, бывало, выпивал на работе тишком, таясь от глаз начальства... Эта могила принадлежала Виктору Романовичу, человеку, которого все, кто его знал, называл в обиходе просто Романычем; он работал на швейной фабрике дворником и трезвым бывал крайне редко, настолько редко, что когда он бывал трезвым, это сразу все окружающие его замечали.

...Пчельников внимательнее присмотрелся к могиле. Да, эта могила была Виктора Романовича. Вот на железном надгробии полностью прописаны его фамилия, имя, отчество и даты рождения и смерти (умер пять лет назад), а чуть выше всего этого приделан фотографический снимок, в рамочке, за стёклышком, ещё не покоробленный морозами и дождями. Могила не была заброшенной, видно было, что её иногда поправляют и следят за ней. «Наверное, его сестра ещё живая и следит за могилой. Он не раз рассказывал, что она иногда его выручала, — соображал Пчельников, глядя на фотографию Романыча. — Помогала ему при жизни, наверное, и похоронила его сама, и вот теперь следит за могилой своего одинокого братца-пропойцы. Слава богу, есть ещё кому о нём вспомнить и иногда помянуть...» А о нём, Пчельникове, когда он умрёт, наверное, никто даже не вспомнит? Не скажет, что вот жил-де такой человек Пчельников Александр Филиппович, жил

так-то, оставил после себя то-то и то-то, точнее, ничего не оставил, потому что жизнь прожил впустую, не имея ни детей, ни огорода. И если похоронят его в могиле на кладбище, то будет его могила безымянной, а вскоре и вовсе завалится, провалится, станет простой ямой, заросшей травой, а потом и вовсе исчезнет с лица земли, как исчезла с лица земли могила его отца, похороненного ещё на «старом» кладбище, уже давно, когда он был ещё подростком и воспитывался в школе-интернате и дома бывал только наездами... В эту минуту к Пчельникову подошёл мужчина с бородкой в кепи и с какими-то присматривающимися к нему глазами. То, что мужчина этот к нему присматривается как-то уж слишком открыто, чуть ли не подмигивая ему, Пчельников заметил ещё там, во дворе, возле дома, когда ждали выноса гроба с покойным. И этот мужчина с бородкой все-то оказывался рядом с ним. И вот он снова вырос у него за спиной. Посмотрев на фотографический портрет Романыча — круглое, серое в рябинках, на вид плотное такое, как картофелина, лицо его, этот мужчина с неподдельным задором и удивлением воскликнул вдруг:

— Ба! Романыч! Вот так встреча! Виктор Романович, оказывается, уже здесь поселился. Когда только он успел это сделать? А я и не знал об этом до сих пор. И не догадывался даже. Вот так номер он отбацал, вот так отчебучил! Садовая его голова! Надо же, чёрт дери, а!

— Так вы его тоже знали? — заинтересованно посмотрев на мужчину с седой бородкой и приплюснутой на лысой голове кепи, спросил Пчельников.

А мужчина этот подошел к надгробию Виктора Романовича, потрогал надгробие рукой, попробовал его пошевелить, но надгробие стояло на земле крепко, прочно и не шевелилось.

—Памятник ему стоит прочно, вделан в землю, видно, на века, — сказал человек с седой бородкой и в кепи.

Он поднял с соседней могилы засохший, с увядшими до черноты цветами, букет, положил его на могилу Романыча и сказал:

—Спи, мой дорогой, спокойно, и хороших тебе снов в твоей яме. Не скучай там. — затем он обратился к Пчельникову:

—Помнишь, каким он парнем был? Каждый день не просыхая пил. Но работу свою дворницкую выполнял исправно. Правда, уходил иногда в загул, и за него мести улицу приходилось тебе, но это ведь не так уж часто было... Теперь ему в могиле покойно... Умру я и тоже буду лежать и вспоминать о жизни на земле, слушать, как шуршат весной и летом на земле дождики, как зимой посвистывает ветер и каркают, пролетая над кладбищем, вороны... Я вот думаю, что Романыч там, в могиле, не скучает. Он жил широко, весело, много вобрал в себя от жизни всяких впечатлений, так что есть ему о чём вспоминать в

свою вечную ночь. «Шутит он, или серьёзно?!» — подумал Пчельников.

А мужчина с седой бородкой, посмотрел туда, где закапывали Горохова, и сказал, чуть ли не вскрикнул, на высокой ноте:

— Да там уже закапывать закончили и все пошли в автобусы садиться! Как бы нас тут не оставили — на кладбище. Надо идти. — И обратившись к могиле Романыча, сказал:

— Лежи, мой друг, спокойно. Пусть земля тебе будет пухом. — И он поспешил к автобусам, которые их сюда привезли.

Пчельников поспешил за ним следом.

— Ты что, так меня и не вспомнил? — вдруг спросил на ходу Пчельникова человек с бородкой.

— Нет, — ответил Пчельников. Тогда человек с бородкой сказал язвительно:

— Ну и чёрт с тобой! — И, когда они уже были у самого автобуса, добавил: — Мы же с тобой работали когда-то на швейной фабрике. Лукич я, Анатолий Лукич.

...Залезли в автобус. Пчельников пристроился на сиденье у бокового окна, из которого было всё хорошо видно. А Анатолий Лукич примкнул к своим знакомым мужчинам и женщинам, тоже уже старым, как и он сам, и о чём-то стал с ними разговаривать. На Пчельникова он больше не поглядывал, а когда случилось ему посмотреть в его сторону, то скользнул по нему глазами так, будто и не заметил.



«Обиделся, наверное, что я его не помню, — решил Пчельников, — но разве я виноват, что не помню? Память ведь часто работает помимо нашей воли. Случаются и беспамятство, и провалы в памяти. Правда, есть такая наука... сейчас вспомню, как она называется, но мы эту науку запоминания не проходили».

...Автобусы выехали с кладбища и быстро покатали по шоссе, покрытому асфальтом, к городу, дома которого уже виднелись далеко впереди.

— Слава богу, уехали с этого кладбища, — вздохнула за спиной Пчельникова какая-то женщина. — Не люблю я эти кладбища. Сердце начинает ныть, как подумаю, что придётся там лежать. Бр-р-р, скучно и жутко.

— Да, на кладбище скуки и уныния много, — сказал другой женский голос. И, поговорив так, женщины притихли — подъезжали к городу, и все были уже заняты мыслями о вечных своих заботах в повседневной городской жизни: делах домашних, работе, а в данную минуту ещё и о поминальном обеде, который уже ждал их впереди в какой-то столовой.

На поминальный обед Пчельников не пошел: он не пил уже месяца три (ни капли не брал в рот) и своё присутствие на поминках посчитал необязательным. Но увильнув без всякого угрызения совести от поминок, он теперь не знал, куда ему направить путь:

домой идти не хотелось, а идти куда-то по необходимости не надо было, собирать же листы своей рукописи, разбросанные по всему городу для перепечатки, было ещё рано. Тогда он решил зайти в книжный магазин и посмотреть, есть ли там что-нибудь новенькое в виде появившегося в продаже, что-нибудь из известного старенького.

Он вошел в книжный магазин и в отделе художественной литературы стал высматривать, как ловец драгоценностей в мутном море печатного слова, книги, которые бы его заинтересовали.

Книг было много. Но одни уже имелись в его домашней библиотечке, другие были ему неинтересны, третьи были дорогие. «Какая счастливая находка!» — воскликнул про себя Пчельников, когда ему на глаза вдруг попался альманах «Приамурье», который, как видно, только что вышел в свет и появился в продаже. Он полистал альманах и, не раздумывая долго, купил: ему самому пишущему давно хотелось узнать, о чём и как пишут местные писатели, которых в городе, как он знал, была целая организация, но с творчеством которых он был совершенно не знаком, да и не знал даже, пишут ли они хоть что-нибудь. С чувством удовлетворенности, радуясь, что зашёл в книжный магазин не зря, он вышел на улицу и пошёл к себе домой, представляя себе, как он придет домой, умоется, выпьет крепкого кофе, усядется в своей комнате в своё кресло у окна, откроет альманах и

начнёт перелистывать его новенькие, густо испещренные аккуратными буквами печатного типографского шрифта, гладкие как шёлк страницы.

На пути домой он собирал листы своей рукописи, заходя в помещения с имеющимися в них отделами компьютерных услуг, куда он листы свои определил для распечатки, и пришел домой уже с готовой сброшюрованной рукописью с его рассказами — аккуратной, плотной и тяжёленькой.

Когда он вошёл с лестничной площадки в квартиру, то замер и прислушался, потому что не мог сразу понять, что его насторожило. В квартире стояла тишина, только на кухне играло радио. Но тут он отметил, что в воздухе пахнет одеколоном, которым он никогда не пользовался, и понял, что в квартире побывала в его отсутствие сестра — старшая, с которой он жил, но которая дома бывала редко, проводя время у своей взрослой дочери и на работе.

Форточка на кухне была плотно захлопнута, кружка со стола убрана, в комнате его со шкафа книжного стёрта пыль... Пчельников выпил на кухне крепкого кофе, наелся хлеба и нетерпеливо вернулся в свою комнату, где сброшюрованная, отпечатанная красивым книжным шрифтом, поблескивая обложкой из плотного полупрозрачного полиэтилена, лежала на покрывале его постели рукопись с его рассказами, а рядом с его рукописью глянцево поблескивал гладкий голубой, с цветными рисунками на обложке, тоненький, но плотненький такой журнал

«Приамурье» — они лежали на покрывале его постели так, как он их сюда бросил, придя домой с улицы.

Пчельников поудобнее устроился в своём кресле и взялся за эти два, лежащих рядом с ним, печатных издания.

Он начал с альманаха, чтобы было с чем сравнивать его собственные сочинения, о которых он был хорошего мнения, но ждал подтверждения этому, и одним из подтверждений этому должны были стать обнаруженные им слабость и незначительность литературных произведений, опубликованных в альманахе. Он преуспел в этом, закрыв ту и другую книжки и отложив их в сторону, он сказал себе, что его сочинения не хуже журнальных и можно уверенно нести их людям: «Завтра же, не откладывая в долгий ящик. Как говорят в таких случаях:

- Помни о смерти...»

### **Разговор в коридоре Амурской ярмарки и его последствия**

Этот разговор Пчельникова с директором Амурской ярмарки Тамарой Николаевной Родионовой состоялся в коридоре самого верхнего этажа здания этой ярмарки 30-го декабря 2001-го года. Тому кто не знает, сообщу, что генеральным директором Амурской ярмарки является Анатолий Васильевич Телюк, а Тамара Николаевна Родионова

является её директором, просто — без «генерального» — директором. Я же -автор этого повествования, которое по моему замыслу должно было стать в итоге своём моим так называемым «завещанием», работаю на ярмарке разнорабочим, дворником, прессовщиком макулатуры, а в свободное от работы время пишу, то есть занимаюсь, так сказать, творчеством для души, очень, очень непростым и покамест ни чем особо в этом деле не отличился, хотя и напечатал уже несколько своих коротеньких рассказов в одной местной газете, а совсем недавно, буквально на днях, увидела свет маленькая книжка с моими избранными рассказами, изданная здесь же на Амурской ярмарке благодаря её генеральному директору. Название книжки «Цветы во дворе».

Этот разговор состоялся ровно в половине восьмого утра, зимнего холодного утра, уходящего навсегда в историю и Лету, 2001-го года 30-го декабря, когда во всём здании Амурской ярмарки ещё царили тишина и покой. Коридор в этот час был пустынным. В нём стоял полумрак — электрический свет был включён не полностью. Кафельные плитки, которыми был выложен пол, таинственно мерцали неподвижным светом включенных ламп. Белые стены не давали тишине и покою покинуть пределы коридора. Как стенки аквариума держат прозрачную воду в ограниченном ими пространстве, так эти белые стены держали тишину и покой, полумрак и мерцание

плиток в своих чётких границах и не давали покинуть определённые ими, этими границами, пределы. Поднявшись на пассажирском лифте на верхний этаж здания Амурской ярмарки, Пчельников пошёл по плиткам этого коридора в сторону комнаты, где он должен был переодеться, перед тем как выйти на улицу и заняться вместе со своими товарищами по работе уборкой мусора на прилегающей к зданию ярмарки территории - на тротуаре и плацу перед фасадом, украшенным колоннадой и арками. Тамара Николаевна Родионова в эту минуту тоже шла по коридору, но с другого его конца. При встрече Пчельников и Тамара Николаевна поздоровались и прошли было уже мимо, друг друга, но Пчельников вдруг остановился, обернулся и, посмотрев ей вслед, сказал громко:

— Тамара Николаевна! Спасибо вам за сделанную на ярмарке книжку с моими рассказами! Хорошая получилась книжка. Но я хотел бы у вас узнать, будет ли сделана книжка из рукописи моей повести «Летите, голуби...», которую я на ярмарку принёс и которую вы, я знаю, прочитали? И как, по вашему мнению, стоит ли мне писать её продолжение?

Тамара Николаевна остановилась, выслушала Пчельникова и сказала:

— Да, я прочитала начало твоей повести, и, честно говоря, она произвела на меня нехорошее впечатление: она подействовала на меня угнетающе...

Ты ими точно предвосхитил произошедшие недавно несчастья. Ты - точно предвестник этих несчастий.

Пчельников, не ожидавший такого отзыва о своей повести, ещё не законченной, был ошеломлён, настолько ошеломлён, что даже не сразу нашёлся, что сказать вразумительного Тамаре Николаевне в ответ на этот её неожиданный для него

отзыв. Он только сумел сказать:

— Но ведь в повести мало что выдуманно.

Пчельников запнулся, сбился, запутался в мыслях и в чувствах и больше ничего не смог сказать. И они разошлись, удалились друг от друга: Тамара Николаевна пошла в одну — свою — сторону, а Пчельников — в другую — свою. Он шёл обескураженный, подавленный услышанным о своей повести отзывом, с возникшим у него в душе чувством несогласия, и даже больше того — внутреннего протеста. Да, он был не согласен с таким отзывом о своей повести. Он этим отзывом был так сильно задет, что воспринял его как колоссальнейшее поражение в своём писательском деле. «Выходит, что тот журналист, которому он показал начало своей повести и который заявил ему, что этот рассказ его не может быть и не будет никогда нигде напечатан, прав?! — лихорадочно думал Пчельников, идя по коридору. — Но так не должно быть! Прав всегда остаётся художник, если творение его — это плод работы его души, сердца и ума, даже если он и не богат этим умом, но искренен и точен в своих

рассуждениях... Столько времени работал над этим своим большим рассказом и оказалось, что работал зря, что она никому не в радость, эта моя повесть! Значит, её никогда не напечатают!? Ах, я горемычный! Сирота-а-а-а... я». И он стал вытирать накатившиеся на глаза слезы.

...Как всегда в это зимнее время года утром было ещё сумеречно, а Пчельников и его прибывшие на работу товарищи Потапчук и Шалыгин уже принялись за уборку улицы перед зданием Амурской ярмарки. Они подметали улицу, дышали морозцем, спешили закончить своё дело побыстрее. Пчельников, работая, думал о своём неотрывно. Иногда он даже останавливался и замирал на месте, когда товарищи его уже были далеко впереди... «Но ведь на фоне мировых событий — катастроф, разрушений, войн, смертей, убийств, увечий, насилия — содержание его почти невыдуманного рассказа выглядит таким добродушным, таким мирным, как выглядит одинокий цветок ромашки на обочине дороги, ведущей на кладбище... — думал так откровенно и зло Пчельников, нервно, даже с какой-то истовостью собирая мусор и бросая его в короб, стоящий на платформе четырёхколёсной тележки. — Да на фоне этой картины мой рассказ даже выглядит жизнеутверждающим: всякая мрачность в преувеличенном виде всегда высекает в нормальном человеке позыв, тягу, стремление к радости, к свету, теплу, к счастливой жизни. Это и есть своеобразное,



невольное даже жизнеутверждение. Тогда, может, мой рассказ недостаточно мрачен и не искренен, раз он не рождает, не высекает в душе человека этого света радости после его прочтения?

Да, это, наверно, так и есть, и выходит, что эта моя повесть — моё окончательное в жизни поражение...»

— Эй! Александр! Ты что так отстал?! — крикнул Пчельникову Потапчук, столяр и плотник на Амурской ярмарке, помогавший ему подметать улицу перед фасадом здания Амурской ярмарки. И Пчельников, очнувшись от своих мыслей, заработал пошустрее, да и утренний морозец заставлял шевелиться, работать, двигаться активнее, энергичнее. «Пожалуй, просто пора поставить в повести точку, — продолжал думать о своём Пчельников, толкая перед собой четырёхколёсную тележку со стоящим на ней коробом с мусором. — Да, взять и поставить точку назло всему... А жалко: я ведь так много ещё должен был рассказать в этой повести... Хотя бы об этом дне моего мытарства с рукописью моих рассказов на следующий день после похорон Сергея Горохова... Какая тогда с утра стояла на улице хорошая погода! Какой был тогда на улице с утра хороший солнечный и тёплый денёк!»

...Да, 17-го сентября 2001 года на улице с утра стоял хороший солнечный, тёплый, хоть и осенний день. Тучки в небе утром были окрашены в

золотисто-розовый цвет зарёй, расцветшей наконец золотым, разливающим по миру тёплое своё сияние солнцем. Когда же Пчельников вышел из своей квартиры на улицу, тучки уже преобразовались в небе в облака с четкими контурами. Облака были белые, они медленно плыли с востока на запад. Пчельникову даже раз показалось, что это плывут по весенней воде широкой реки последние обломки белого, взломанного вешней водой льда.

Он стоял на остановке, на улице Первомайской. На другой стороне улицы, напротив остановки, блестело стёклами своих окон двухэтажное здание, выкрашенное в розовый цвет. Воздух на улице был свежий, и в нём слышался запах подсолнечного масла. Этот запах тянуло ветерком со стороны маслобойного завода...

...Бодрый шум машин, пробегающих мимо него по дороге, жизнерадостные голоса людей, проходящих мимо остановки, на которой он ждал, когда подойдет автобус, и другие звуки и запахи долгой теплой осени — все наполняло его душу блаженным покоем, даже каким-то глубоким довольством, удовлетворением простым своим существованием на земле. Такое довольство своей жизнью, наверно, ощущает в себе даже какая-нибудь собака-дворняга, когда лежит в теплой пыли где-нибудь у подворотни на солнышке, чует запах жареной картошки, разносимый ветерком по всей улице, прислушивается к разным уличным звукам,

дергая иногда ушами, и жмурит виновато глаза, забыв откликнуться на громкий зов хозяина, вышедшего из дома во двор по какой-то своей, ему только ведомой, нужде. Да, Пчельников чувствовал себя в этот час превосходно, так превосходно, что даже стал думать: и что он все носится со своими рассказами, а не бросить ли все это к черту, да и начать жить просто, в свое удовольствие, и радоваться простой своей жизни, как все нормальные с чистой совестью люди?!

Он заглянул в полиэтиленовый пакет, который держал в руке и где лежала рукопись с его рассказами, и подумал: «Навязалось же мне это дело с подросткового возраста, и стал я у этого дела наподобие раба! А почему бы мне не взять да и не бросить его — освободиться от него навек?! Или хотя бы относиться к нему не так серьезно, а с иронией, насмешкой?! Ах, хорошо бы отречься от него навсегда — от этой сладкой отравы!»

...Подошел автобус. Пчельников забрался в этот автобус, сел на сиденье у бокового окна и положил осторожно пакет с лежащей в нем рукописью на колени.

...Он смотрел в окно, а автобус ехал по городу с задержками на остановках и наконец довез его до Дома офицеров Российской Армии. Здесь он вышел из автобуса, дошел пешком до типографии и на углу улицы напротив здания этой типографии остановился, стоял и раздумывал... Идти в типографию и искать Л.

ему не хотелось. Да и встречаться с этим редактором и литератором Л. ему было страшновато. И тут мысль, которая давно уже приходила ему в голову, снова к нему пришла и им овладела. Ему давно уже думалось поступить самым простым для него образом: одну копию рукописи с его рассказами послать по почте в Центральную Россию в какой-нибудь известный толстый журнал — на всякий, как говорится, непредвиденный случай, чтобы не пропала, а другую копию отнести на Амурскую ярмарку и вручить её Тамаре Николаевне Родионовой или даже самому Анатолию Васильевичу Телюку, и пусть они решают, что им с его сочинениями провинциала-любителя делать.

...Стрелки часов над центральным входом Амурской ярмарки показывали ровно два часа дня, когда Пчельников прошел в тени большой арки под циферблатом этих часов, вошел через железные двери в здание ярмарки и пошел по торговому залу в сторону пассажирского лифта. Возле пассажирского лифта он встретился с работниками ярмарки слесарями-сантехниками Ивановым, Носковым, Галушко и поздоровался с ними. В кабине лифта он поднимался вверх с какой-то малознакомой ему женщиной-продавцом и с ней поболтал о каких-то пустяках. На верхнем этаже Пчельников вышел из кабины лифта, прошел по коридору, повернул налево и за дверью с прозрачными стеклами увидел сидящую за столом секретаршу Лену. Он открыл дверь.

Секретарша Лена поднялась ему навстречу, Пчельников протянул ей свою рукопись со словами:

— Это мои рассказы. Передайте их Тамаре Николаевне. Сказав так, он добавил:

— Из этой рукописи можно сделать книжку с картинками. Затем он повернулся и ушел, оставив секретаршу с его рукописью в обеих руках и недоумением на лице. «Что за рукопись? И что за книжку из неё можно-сделать?» — думала она. Она хотела оставить Пчельникова и поговорить с ним, но того и след простыл.

Тамара Николаевна сидела у себя в кабинете. Секретарша Лена принесла ей рукопись, переданную ей Пчельниковым. Тамара Николаевна прочитала на её обложке: «Отчет о выполненной работе дворника Пчельникова А.Ф., сентябрь, 2001г.» Тамара Николаевна улыбнулась: «Отчет дворника о выполненной работе. Это должно быть забавно». Она раскрыла рукопись и прочитала её название «Прости, брат». Прочитав это, она спросила из своего кабинета секретаршу Лену:

— Пчельников уже ушел?

— Ушел. Даже ни на минутку не задержался.

— Что он сказал, когда уходил?

— Ничего не сказал. Нет, то есть да, сказал, что из этой рукописи можно сделать книжку с картинками.

— Понятно, — сказала Тамара Николаевна и ещё спросила у секретарши Лены:

— Он был трезвый?

— Так ведь он давно уже не пьет. Говорят: бросил. Хотя он выглядел, как пьяный. Наверно, от волнения.

— Понятно... — сказала Тамара Николаевна и отложила рукопись в сторону - ей сейчас не до нее было.

— Нет, он на самом деле давно не пьет, — донесся до неё голос секретарши.

— Ясно, — уже с раздражением сказала Тамара Николаевна.

Он вышел через железные двери из здания ярмарки и пошел вдоль серой колоннады торгового ряда, поглядывая на округлости арок в промежутках между колоннами. Время было послеполуденное. Идя по плацу вдоль колоннады с лицом обращенным на юг, он вдруг обратил внимание на желтизну, появившуюся на небе, за рекой, там где простиралась великая страна Китай. Желтизна сгущалась и увеличивалась в размерах — она начинала наползать на небо пеленой, отливающей в лучах солнца тусклым цветом бронзы. Это смерч, подняв в великой пустыне Гоби тонны песка и пыли, нес их по небу в нашу сторону, на наш город. Ураган медленно приближался. Пчельников застыл в оцепенении, глядя на юг. «Неужто сбывается пророчество этого провидца, заваленного камнями обрушившегося дома», — подумал он с холодком в сердце. Пчель-

ников подумал также о старушке-музыкантше, вызволенной из завалов живой, но повесившейся в больнице, когда ей там ампутировали руку. Об этом ему сообщила тётка Горохова, мимоходом, сегодня, когда он её встретил случайно на улице и, поздоровавшись, поговорил с ней. Она как раз возвращалась из больницы, куда ходила навестить свою старшую сестру, тоже пострадавшую в результате обвала дома и теперь лежащую в больнице при смерти. Он подумал об этой музыкантше так: «Она повесилась из-за страха перед неизвестным ей будущим. Из-за страха от неизвестности или известной ей всеобщей гибели. Это был безумный шаг с её стороны. Но я так поступать не буду. Когда не знаешь, что противопоставить надвигающимся бедам и как с ними бороться, надо молиться». И Пчельников зашагал в сторону церкви, недавно в городе возведенной на месте когда-то давно разрушенной воинствующими атеистами. Пчельников тоже был атеистом. Но он хотел, чтобы Бог был. Великий и мудрый Бог. Карающий за подлость, воздающий по заслугам, милосердный и справедливый, всевидящий и всезнающий Бог.

Возле церкви Пчельников встретил Анатолия Лукича — он узнал его в этот раз сразу. Тот стоял возле церкви с какой-то старой женщиной.

— Тоже молиться? — спросил он Пчельникова.  
— А меня сюда притащила моя жена. Еще недавно

она была правоверной атеисткой, а теперь — правоверная христианка православного пошиба...

— Ураган приближается. Но никто ничего не делает, — сказал Пчельников.

— А что делать? Заколачивать окна? — засмеялся Анатолий Лукич.

— Что же тогда остается? Молиться? — спросил Пчельников.

— Это уж кто как хочет. А я не верю во всю эту чепуху.

— Но, может, это единственный шанс спастись, спастись самому и спасти наш город. И Пчельников впервые в жизни перекрестился и проговорил вслух молитву:

— Господи, спаси и помилуй. Спаси наш город. Отведи от нас эту беду, Господи.

Анатолий Лукич снисходительно усмехнулся: — Артист!

Но Пчельников молился серьезно, и лицо у него было серьезным, строгим. Пчельников вернулся к себе в квартиру уже вечером. К этому времени небо над городом было уже всё затянуто жёлтой пеленой, и солнце было затянуто этой пеленой тоже. Но странно: ни ветра, ни других проявлений надвигающегося урагана не было, только сыпался с неба жёлтый песок и воздух был насыщен пылью.

Он сел на кухне выпить крепкого кофе для бодрости. Он попивал кофе и смотрел в окно. За окном с неба падали крупницы песка. Еле заметные,



если присмотреться крупички песка. К утру этим песком были засыпаны улицы всего нашего города. Пчельников лег в постель спать рано, не раздевшись.

Ночью в Астрахановке взорвался спиртной завод. Пчельников услышал звук этого взрыва, прокатившийся по руслу реки Зeya, и подумал, что где-то что-то взорвалось, совсем не имея ввиду завод в Астрахановке.

Ночь была наполнена ожиданием надвигающейся катастрофы...

...Утро на следующий день наступило ясное, тихое. В это утро Пчельников проснулся от громкого стука в дверь. Сестры дома не было, и Пчельникову пришлось самому встать и отомкнуть дверь. Стучал в дверь Алексей Пинегин — шофер с Амурской ярмарки, а когда-то работавший шофером на швейной фабрике — старый знакомый Пчельникова.

— Хватит спать! Собирайся на работу! Тебя ждет грандиозное дело! — весело сказал он. — Надо ярмарку откапывать! Посмотри в окно на улицу: песок лежит вот таким слоем! Приказано тебя доставить на подмогу, а то убирать некому: гребут песок только Вовка Гридасов, один электрик и один сантехник и никого больше. Остальные получили инфаркт миокарда, Бориса даже отвезли в больницу, Толян вовсе не вышел на работу. Тамара Николаевна ругается: велела поднимать народ на борьбу со стихией. Так что я приехал за тобой. Собирайся! Едем!

С этого дня отпуск для Пчельникова закончился, и начались у него трудовые будни.

Прошёл октябрь. На ярмарке решили выпустить книжку с избранными рассказами, Пчельникова.

Узнав об этом, Пчельников принес на ярмарку часть своего большого рассказа, названного им «Летите, голуби...»; он надеялся, что этот рассказ будет включен в эту книжку. Книжка была издана. Рассказа «Летите, голуби...» в книжке небыло.

На торжестве, приуроченном к встрече Нового года и девятилетию образования Амурской ярмарки, книжка с названием «Цветы во дворе» была роздана работникам ярмарки. Пчельникову вручил эту книжку сам генеральный директор. Тамара Николаевна при этом присутствовала и была рада за Пчельникова: ведь это было не совсем обычное дело — появление на свет художественной книжки с картинками, автор которой обыкновенный человек, работающий на ярмарке дворником, и ведь книжка получилась неординарная, хотя и простая по содержанию, но талантливая: по-настоящему художественная и написанная ясным, четким языком. Пчельников был рад появлению на свет этой своей книжки. Но ему хотелось узнать, ждет ли такая же счастливая участь его большой рассказ «Летите, голуби...». И вот 30 декабря уже упомянутым утром в коридоре Амурской ярмарки на верхнем этаже её здания Пчельников спросил об этом Тамару

Николаевну Родионову. После этого разговора в коридоре Амурской ярмарки Пчельников со своими товарищами по работе Потапчуком и Шалыгиным убирал мусор перед фасадом её здания и во дворе и с сердечным приступом был товарищами по работе приведен в подсобное теплое помещение и посажен осторожно на стул. Потапчук побежал вызывать скорую помощь. И, вскоре машина скорой помощи приехала. Пчельникова проводили в машину. Медсестра села в кабину рядом с шофером. Хлопнула, закрывшись, дверца, и машина скорой помощи тронулась с места и выехала со двора Амурской ярмарки...

Было раннее утро 30 декабря 2001 года.

Пчельников теперь встречает утра в больнице на койке — она стоит у стены напротив окна. Отныне он человек больной. Ему нельзя делать резких движений, волноваться, утомляться. Он должен только лежать и выздоравливать. Он имеет разрешение что-нибудь читать легкое, детское, и он читает... А когда ему не хочется читать, нет настроения — он думает и вспоминает. Думает обо всем, что ни придет в голову, вспоминает о прожитой им жизни, о днях далеких и днях близких. Думает, вспоминает и подолгу смотрит в окно...

2002 г.

**ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**  
**(воспоминания лежащего в больнице)**  
**УТРО ЖИЗНИ**

**Родительский дом**

Дом стоял на углу улицы Пушкина. Дом был бревенчатый. На окнах его были ставни выкрашенные в голубенький цвет. Эти ставни на окнах всегда на ночь закрывались. Обычно их закрывал по вечерам глава семейства Филипп Петрович - мой отец. Часто закрывала их и Александра Петровна, моя мать, которую я в глаза так и не назвал при ее жизни ни разу матерью. Иногда закрывать ставни доводилось и моему брату Виктору. Закрывал ставни и я, но редко, потому что при жизни отца я жил в школе-интернате и дома бывал только наездами — приезжал на выходные дни и во время школьных каникул — зимних и продолжительных, трехмесячных — летних.

Я любил свой дом, хотя и не любил проходившую в нем жизнь. Когда мне доводилось закрывать и открывать на окнах ставни, я касался этих ставень с трепетом в пальцах, с волнением в груди, со стуканьем сердца. Особенно мне приятно было ставни открывать — впускать в дом солнце. Но обычно ставни на окнах по утрам открывала Александра Петровна.

Я любил, когда по утрам в доме открывались ставни. После темной глухой ночи увидеть свет

разгорающегося дня было радостно, сладко. Обычно я захватывал эти моменты в выходные дни, благодаря которым я и был дома: открывались на окнах ставни, в комнату входил утренний свет, а в это время из соседней большой комнаты, называемой залом, доносились сладкая музыка или песня, передаваемые по радио — это всегда было воспринимать приятно, радостно.

... Я любил, когда зимой в доме топилась печь: за окнами стояла зима, царил белый день, а в доме топилась печь, и Александра Петровна жарила на плите блины, а тут еще с улицы, с мороза в дом входил Филипп Петрович — вносил ведра с холодной колодезной водой. Все звуки в доме были слышны отчетливо. Слышно было даже, как Филипп Петрович черпал ковшем из ведра воду и пил ее... Но такие светлые картины в доме случались нечасто. Чаще, приезжая из интерната домой, я заставал там пьяный разгул: Филипп Петрович, Александра Петровна и Тютим сидели за столом на кухне, пили водку и пели песни.

Жизнь дома была веселой: Филипп Петрович часто бил Александру Петровну, и она частенько пряталась от его побоев у соседей. А однажды убежала из дома надолго. Вот тогда-то Филипп Петрович и вынужден был привести в дом в сожительницы тетку Наташку для поддержания семейного хозяйства, и, благодаря этому хозяйствованию, я оказался в детском доме.

## В детском доме

Если бы кто знал, как я тосковал по дому моих родителей, живя в детском доме! Правда, не все же дни я тосковал. Были и в детском доме дни хорошие. Особенно радовали нас, детей детдомовских, дни, открытые известием о скором отъезде в летний лагерь. Это ожидание переселения было волнительным. Мы с нетерпением ждали того дня, когда заедет во двор машина и воспитательницы начнут загружать в ее кузов вещи, необходимые для уборки, мытья, побелки летних жилых палат и столовой и наведения порядка на всей территории лагеря, где нам предстояло провести все лето.

Наконец воспитательницы уезжали, и вскоре увозили на машине в летний лагерь и наши постельные принадлежности, и кухонную посуду. И тогда в здании детского дома становилось как-то пусто: зайдешь в спальню, а там стоят кровати с голыми сетками без матрасов, одеял и подушек; солнце сиротливо заливает своим светом комнату, блестит на подоконниках и голом полу, и никого-то оно уже там не радуется; заглянешь в столовую и игровую комнату, а там нет столов и из кухни не пахнет запахами приготавливаемого поваром обеда, потому что обед уже готовится там, в летнем лагере. И вот наконец и мы, дети, тоже переселяемся в летний лагерь всеми группами — младшей, средней и

самой старшей группой, детям которой предстояло осенью идти в школу.

## **В летнем лагере**

Три наши палаты летнего лагеря были сбиты из досок. Снаружи они были побеленные и стояли у речки под высокими соснами, с которых иногда падали на их крыши тяжелые шишки и, скатываясь, падали на землю, шуршали на улице за стенами палат. Поодаль от жилых палат стояла столовая, тоже сколоченная из досок и побеленная снаружи; свежая побелка выглядела хорошо, но после летних дождей побелка тускнела, смывалась водой, и палаты, и столовая снова снаружи становились серыми, с обнажившейся поверхностью досок, из которых они были сбиты. Вдоль стен их обычно стояла трава, в которой можно было увидеть даже ягоды земляники, когда она поспевала.

Напротив наших трех палат между тремя соснами стоял большой рукомойник с множеством металлических сосков, с которых стекала каплями вода; под рукомойником был длинный желоб, куда стекала вода, когда мы умывались, а под этим желобом - большое корыто, куда сливалась грязная мыльная вода; в этом корыте всегда плавали желтые сосновые иголки, ночные мотыльки и упавшие в воду с сосен черные муравьи. Налево от рукомойника была игровая площадка с качелями и кучей песка, а там, за

рукомойником, поодаль от него, был речной берег и текла сама речка Пера, а за речкой лежали широкие зеленые луга, над которыми в небе часто плыли белые облака и иногда - тяжелые, темные, несущие грозовой дождь.

В палатах были окна: в каждой палате по одному окну. Окна были большие с фрамугами. Эти фрамуги в хорошую погоду открывались и весь день были поднятыми.

Помню палату, в которой я проводил последнее свое лето в детском доме. Помню в ней окно с поднятой фрамугой. С улицы через окно с поднятой фрамугой в палату проникал летний ветерок. Проникая в палату, уличный воздух растекался по деревянному всегда чистому полу, закатывался под топчанчики. На этих топчанчиках спали дети, мои сверстники, воспитанники детского дома. Я был один из них: лежал, прислушивался. Изголовье у топчанчика моего было у стены. Я слушал, как за этой стеной палаты будто кто-то ходил: то в одну сторону пройдет, то в другую; а то вдруг надолго замрет, а потом опять тихо ходит, шуршит травой, перекачивает сосновые шишки. Вот одна из шишек ударилась о крышу палаты у меня над головой и скатилась на землю, упала в траву. К окну подлетел шмель и монотонно загудел в воздухе. Вскоре шмель улетел. Тогда на его место прилетела пчела. Взжикнули, пролетая, мухи. Прилетела оса и улетела. И снова в палате и на улице тишина и покой. Только



слышится какое-то шуршание за стеной палаты, будто кто-то пройдет то в одну сторону, то в другую; а то надолго замрет и сладко вздохнет. Пожалуй, это лесной ветерок там ходил, вздыхал. Больше там ходить в этот час послеполуденного отдыха было некому... За окном с поднятой фрамугой стоял ствол сосны, толстый, желтый. Там, на улице, было послеполуденное солнце; под толстым стволом сосны на песчаной земле и среди корней - сосновые перекрученные иголки и бегали черные муравьи. Поймаешь одного такого муравья, осторожно лизнешь — тут же сморщишь лицо — такой муравей этот едко-кислый. Бросишь этого муравья, и тот снова побежит по своим муравьиным делам, полезет по хвоинкам, по корням и даже станет забираться зачем-то на ствол сосны. «Они работают», — говорила о муравьях наша воспитательница Анна Герасимовна.

Каждый день, лежа в палате на своем топчанчике, утром, днем, вечером и даже иногда ночью я вслушивался в гудки проходящего далеко за суровым, — как мне тогда казалось — с вечностоящим над ним туманом, лесом живого и быстроходного паровоза с тянущейся за ним цепочкой вагонов. Паровоз издалека, из-за леса, подавал кому-то свои гудки. Я к ним прислушивался и тосковал по дому.

Да, вслушиваясь в эти гудки паровоза, я постоянно остро тосковал по своему родному, покинутому мной дому. Паровоз постоянно

напоминал мне о моем доме. Мне казалось, что он идет в ту сторону, где мой дом стоял. Я мечтал, я хотел домой вернуться. Паровоз и его гудки мне постоянно напоминали о нем. А напоминали мне они о доме потому, что мой дом стоял возле железнодорожной ветки, недалеко от речного порта, куда все, кроме одной, линии этой железнодорожной ветки вели.

В то время на железных дорогах работали паровозы, а по рекам ходили пароходы. Теперь давно уже их нет и не видать. Сейчас по рельсам бегают тепловозы, а по рекам ходят теплоходы. Да, все меняется, меняется жизнь, меняются люди — стареют, а кое-кого из тех, кого я когда-то знал, уже даже нет на свете: ушли, исчезли, сгинули, многие даже совершенно бесследно.

Вот и я уже стал пожилым человеком и, придет время, тоже сгину с лица земли, исчезну бесследно, не оставив своего имени в памяти потомков.

Да, течет время. Кажется, еще недавно я был ребенком, жил в детском доме, потом в интернате... И вот я уже пожилой человек и занимаюсь воспоминаниями. Давно, можно сказать, не живу, а занимаюсь воспоминаниями — разгружаю память, чтобы загрузить ее новым...

### **В школе-интернате**

Здание интернатовской школы было трехэтажным. Оно было покрашено в розовый цвет, и

у него было множество окон. Одни окна школы смотрели за территорию интерната, через ограду на проезжую часть улицы, вдоль которой она стояла, и - дальше; а другими смотрела, поблескивая стеклами, на двор, который был большим с заасфальтированными дорожками и большой цветочной клумбой в центре. Жилой корпус в интернате был тоже трехэтажным и тоже покрашенный в розовый цвет. В школе интернатовцы учились, в жилом корпусе — жили: поднимались по утрам с постелей, умывались в умывальных комнатах, одевались, готовясь идти в столовую, а затем — в школу на уроки; после уроков в этом корпусе они переодевались в одежду повседневную и проводили свободное время в разных играх и бесцельной беготне, возне в самом жилом корпусе и во дворе. Вечером интернатовцы снова занимались в школе — готовили уроки, заданные на дом. После приготовления домашних заданий ужинали в интернатовской столовой, стоявшей отдельным одноэтажным зданием во дворе. А потом через какое-то время - младшие классы раньше, старшие попозже — готовились ко сну.

Все дни у интернатовцев были заняты занятиями в школе, кроме воскресного дня. В этот день интернатовцы не учились, а проводили его у себя дома, разумеется, у кого он был, а был он почти у всех интернатовцев, так же как и у меня.

Интернатовцы разъезжались по домам в основном по субботам после уроков в школе и обеда. За младшими приезжали их родственники, старшие уезжали самостоятельно. Однажды и за мной из дома приехали.

Тогда тополя, стоявшие за зданием школы и жилым корпусом, были уже ярко - желтыми, как говорили все - золотыми. Да, под осенним солнцем они казались золотыми, а вернее сказать, бронзовыми. Когда по их сухой листве пробегал теплый ветерок, листья на тополях трепетали, шлепали весело друг по дружке и шумели на всю улицу. И те тополя, что стояли за интернатовской оградой, тоже были золотые и при ветре тоже весело шумели сухой листвой.

В тот день после обеда в интернатовском дворе было уже пусто — интернатовцы покинули свой интернат или готовились его покинуть на воскресный день, чтобы утром в понедельник в него снова вернуться. За мной из дома еще никто ни разу не приезжал, и я не ждал, что за мной кто-нибудь когда-нибудь приедет. Но вот в тот день я играл в жилом корпусе в общей игровой комнате. Вместе со мной играли еще два мальчика, за которыми тоже никто не приезжал из дома. Я их запомнил, потому что я с ними жил еще в детском доме для малолетних детей, из которого мы были переведены в интернат. Даже запомнил, как мы однажды были посажены воспитательницей Анной Герасимовной на скамейку, стоявшую возле палаты в летнем детдомовском

лагере, в наказание за то, что мы заигрались, забегались и не пришли вовремя в палату, а время уже было вечернее, было время отбоя, и дети в нашем летнем лагере уже готовились ко сну: плескались водой возле умывальника и мыли ноги в тазике у входа в палату, перед тем как войти в нее и лечь в свои постели. Помню, мы сидели на большой скамейке возле нашей палаты. Последние дети из нашей группы скрывались в нашей палате, а возле других палат давно уже никого не было видно. Закат за лесом в западной стороне догорал. Опускались на землю сумерки. Небо было еще светлым, но уже кое-где начали посверкивать далекие летние звездочки. Вокруг нас стали настойчиво пищать комары. И когда они начали нас крепко кусать, воспитательница наконец сжалилась над нами и разрешила зайти в палату, что мы и поскорее сделали, не забыв помыть ноги в тазике, вода в котором уже к тому времени стала холодной.

Одного из этих мальчиков я запомнил еще и по другой картине, запечатлевшейся навсегда в моей памяти. Как-то мы играли поодаль от столовой возле качелей на песке и вдруг увидели идущих к нам двух взрослых мальчиков-подростков, в руках у них были ветки черемухи, рясно усыпанные кистями черных блестящих на солнце ягод. Мальчики были мокрые, и ветки черемухи в руках у них тоже были мокрые: с веток капала вода, и капли эти ярко сверкали на жарком солнце. Оказалось, что эти подростки

переплыли речку, а черемухи наломали для нас на той стороне речки. Они были нашими братьями. Один из них был моим братом — Виктором. Их детдомовский летний лагерь находился недалеко от нашего, за рощей; они узнали про наш лагерь и решили навестить нас. Мы были тогда им очень рады и долго были горды тем, что у нас такие большие братья и что они нас еще не забыли, помнят и вот даже навестили, проведали, как мы тут живем.

Одним из двух братьев, приехавших тогда за мной из дома в интернат, был этот брат Виктор, навестивший меня в детдоме, когда я был в летнем лагере, и Вовка, брат, которого я к тому времени помнил уже слабо. Да, это они приехали тогда за мной в интернат из дома, когда я играл в общей комнате и мне вдруг сообщили, что за мной приехали. Для детей такие приезды за ними из дома были настоящими праздниками. А для ребенка, за которым еще никто из дома не приезжал и вдруг узнавшего, что за ним приехали, это было настоящим радостным потрясением. Помню, я со страшно бьющимся сердцем спустился по лестнице вниз, а что было дальше - не помню. Помню только, что интернатовский двор был залит осенним, пригревающим еще солнцем, братья стояли на улице возле подъезда и ждали меня. Я к тому времени от своих братьев страшно отвык, а Вовку чуть ли не забыл, и потому, как они потом рассказывали, я был с

ними сдержан и даже как будто не очень обрадован их приезду.

С того дня я стал навещать свой родительский дом, проводить в нем воскресные дни и дни праздничные, когда в интернатовской школе не было занятий и интернатовцев всех отпускали по домам.

... А вскоре я стал ездить домой из интерната самостоятельно: узнал дорогу к дому. Дома мне давали деньги на проезд в автобусе, и, когда наступало время ехать домой, я вынимал эти деньги из матраса, в прорези которого я их от всех прятал, и шел на автобусную остановку - она была рядом. Я выходил с интернатовской территории за ворота, всегда распахнутые настежь, поворачивал налево, проходил по покрытому асфальтом тротуару, протянувшемуся вдоль штакетного интернатовского забора, на котором всегда летом и осенью висели плети фасоли, — летом с цветочками, а осенью со стручками, зелеными и желтыми, и редкими цветочками, похожими на мордочки собачек, - доходил до угла нашей интернатовской ограды, переходил через дорогу на другую сторону улицы, доходил до тополей, возле которых находилась автобусная остановка, и здесь останавливался и ждал, когда подойдет автобус.

Автобус подвозил меня не прямо к дому — еще два квартала надо было идти пешком, прежде чем мой дом открывался моим глазам.

Дома я был всегда предоставлен самому себе, был безгранично свободен, не скован никакими обязанностями, и поэтому мне дома было хорошо, и я дома бывать любил. Но я домой всегда приезжал с таким чувством, какое, наверное, испытывает человек, которого дома никто не ждет и он это знает, но его с такой необоримой силой тянет к близким ему по родству людям, что он во что бы то ни стало стремится внедриться под крышу их дома, пусть даже и незваным гостем. Таким незваным гостем я ощущал себя всегда в доме моих родителей и старших братьев. Уже садясь в автобус, чтобы ехать из интерната домой, я подумывал, как меня примут, и чем ближе подъезжал к дому, тем сильнее мной овладевала нерешительность - словно я ехал себя навязывать, и на душе у меня было беспокойно, будто ее скребли кошки. Чтобы оттянуть мою встречу с домом, я даже часто, повзрослев, стал ходить домой из интерната через весь город пешком, разумеется, если позволяла этому погода: зимой, если мороз был не крепким, а осенью и весной, если не лил сильный дождь и не дул сильный ветер. Приятнее же всего мне было ходить домой после дождя, пусть даже если и дул порывами сырой ветер - такая погода меня всегда немного взбадривала и успокаивала.

Я подходил к воротам родного дома. Эти ворота были высокие и были всегда в хорошую погоду освещены солнцем - с утра до вечера: по утрам - косыми лучами солнца поднимающегося; по вечерам



- солнцем, закатывающимся на юго-западе за рекой, которая текла недалеко от дома сразу за линиями рельсовых путей железнодорожной ветки; линии эти тянулись в речной порт, где работал грузчиком мой отец. Калитка была вровень с воротами - высокой и тяжелой, с тяжелой цепью -бременем наверху, с помощью которого калитка всегда закрывалась сама. Я с трудом открывал эту калитку и входил во двор; цепь гремела у меня над головой, и, когда я калитку отпускал, она у меня за спиной сама закрывалась, притягиваемая отвисающими звеньями тяжелой цепи. Загавкает вдруг на меня наша домашняя собака Амур, а узнав, замолчит, завилает хвостом. Взлетят со двора голуби, которых держал старший брат Вовка, и рассядутся на сенцах и крыше дома. Я поднимался на крыльцо, входил в сенцы, а из сенцев, открыв массивную утепленную дверь, ступал через порог в дом и оказывался на кухне. Вступив в дом, я часто видел Александру Петровну стоящей у печки, а Филиппа Петровича сидящим на кухне за столом в углу у окна, которое выходило во двор.

Если отец был трезвый, то, сидя на кухне, он часто читал в слух толстую книгу, как мне казалось, все одну и ту же — «Кавалер Золотой звезды». Читал медленно, по слогам, будто только недавно научившийся читать.

... Я проходил в большую комнату, называемую у нас дома залом, и с этой минуты я уже был предоставлен самому себе - был свободен и мог

делать, что хотел. Но что я мог делать у себя дома один без товарищей. У моих старших братьев были свои дела и свои товарищи; они редко когда сидели дома, а меня редко когда привечали и брали с собой в свои компании. Вовка занимался своими голубями и со мной не считался. Правда, Виктор иногда меня брал с собой играть в соседнем переулке с его друзьями-мальчишками, но я как-то туго входил в их занятия и так никогда близко с ним и не сошелся - всегда с ними чувствовал себя неловко, скованно, хотя и водился с ними постоянно, потому что водиться мне больше было не с кем.

В переулке мы играли в лапту и городки, зимой катались на самокатах по замерзшей дороге, летом рыбачили на реке, а иногда, когда темнело и загорались на небе звезды, подолгу лежали в траве лицом вверх и наблюдали за звездами и за быстро двигавшимися через все небесное пространство огоньками - спутниками.

Проведя воскресный день дома во время учебного года, я каждый понедельник должен был возвращаться в интернат рано утром, к первому уроку. И я скрепя сердце возвращался...

## Окна

На окнах в спальнях комнатах в жилом корпусе нашего интерната были белые, как в больнице, занавески, которые при задергивании закрывали

нижнюю часть окон. Помню, такие занавески были на окнах третьего этажа, где находились спальни младших классов с 1-го по 3-ий. А вот в спальнях комнатных средних и старших классов таких занавесок не было, а висели на окнах шторы длинные, на всю высоту окон, почти до пола свешивающиеся с гардин. На подоконниках окон верхнего этажа - третьего - стояли горшочки с комнатными цветами. До сих пор помню один из цветов. Он цвел синими колокольчиками, которые свешивались со стеблей вниз под своей тяжестью, и те, которые ещё не успели распуститься, похожи были на голубые маленькие сосульки; когда днем с улицы сквозь них проходило солнце, то казалось, что они светятся и вот-вот вдруг раскроются и зазвенят, как настоящие колокольчики. А вот стояли ли горшочки с комнатными цветами на подоконниках в спальнях средних и старших классов, я уже не помню. Кажется, все же стояли. Да, точно, в спальне пятого класса они стояли. По одному цветочному горшочку на каждом подоконнике.

По утрам солнце в нашу спальню мальчиков - пятиклассников не проникало, а блестело на улице на стволах тополей, на штакетниках забора, на асфальте тротуара, проходящего за забором — особенно после дождя, когда они были еще мокрые, но небо уже прояснилось и было чистым. Да, рано утром солнце в нашу спальню не проникало, а блестело только за кнами; но по мере того, как оно поднималось в небо,

оно все же какое-то короткое время освещало рамы окон, обращенных на север, появлялось на подоконниках, на листочках цветов, стоявших на них, на боках горшочков, а потом исчезало на весь день, и днем его можно было увидеть из этих северных окон только блистающим на улице. А вот в соседнюю спальню девочек оно не только заглядывало, а в полдень даже лежало на подоконниках и застеленных кроватях, стоявших у окон, обращенных на юг и смотревших на интернатовский двор. А что было в умывальной комнате, окно которой тоже выходило во двор?! В полдень солнце там блестело на подоконнике, кафельном полу, на никелированных кранах, раковинах, в капельках воды на этих раковинах. Зимой солнце блестело не так ярко, но тоже блестело, приглушенным светом проходя сквозь наледь на стеклах. Да, зимой на окнах в умывальных комнатах в интернате иногда появлялась наледь — тонкий прозрачный ледок на стеклах нижней части окон. А вот в подвале, где была прачечная и где малолетних интернатовцев иногда купали, на подвальных окнах, находящихся высоко над полом, зимой наледь всегда лежала толстым слоем, и, когда в прачечной было жарко, наледь эта словно дымилась и сочилась на пол водой. В этой прачечной всегда на веревках висело свежестиранное постельное белье и крепко пахло хозяйственным и дегтярным мылом.

...Окна в здании интернатовской столовой, стоявшей во дворе, были почти всегда зашторены, да

и обращать на них внимание всегда было некогда: по утрам надо было побыстрее поесть, чтобы не опоздать на первый урок, а в обед — быстрее поесть, чтобы бежать на улицу, где ждали тебя всякие мальчишеские занятия и главное — свободное время от всяких обязанностей, когда можно было играть во дворе, лазить среди кустов смородины, которой в интернате была целая плантация, бегать на футбольном поле, гонять мяч, играть на куче песка за дощатым интернатовским уличным туалетом; когда можно было бегать в жилом корпусе и даже — правда, тайком от учителей и воспитательниц — побегать за интернатовской территорией, за ее штакетным забором, а то и отлучиться на свой страх и риск, опасаясь за это получить нагоняй, и подальше — в сторону сопок.

Каждый день, кроме воскресенья, после завтрака интернатовцы строем, предводимые воспитательницами и классными руководителями, направлялись в здание школы на уроки.

Коридоры в здании школы были длинные - на все здание, классы просторные. В коридоры солнце только заглядывало по вечерам, а вот в классных комнатах оно блестело с утра до полудня, потому что окна их были обращены на восток...

Помню, в пятом классе я уже учился неохотно, натужно. Потому что к этому времени, хотя еще и не осознанно, я был уже поглощен миром своей памяти, мальчишеских дум и наблюдений. Я даже запомнил,

как некоторое время я серьезно мучился тем, что мне почему-то казалось, что мои тайные мысли каким-то образом открываются людям меня окружающим, ~ читаются ими на моем лице, что ли? или каким-то другим образом узнаются по моим глазам, по выражению моего лица. От того, что мне казалось, что все мои мысли становятся каким-то образом известны учителям, я даже старался ни о чем не думать и даже глушил свои мысли, особенно те, которые мне казались стыдными. Когда же я понял, что мой внутренний мир, мои мысли и чувства — сфера тайной моей внутренней жизни и что они для всех скрыты, я перестал бояться своих мыслей и стал думать обо всем напропалую и даже о стыдном.

## **ВОВКА – ГОЛУБЯТНИК**

Вовка — брат мой - был голубятником. Он держал дома веселую стайку голубей. Когда я, приезжая домой из интерната на выходные дни, подходил к дому и видел на коньке крыши нашего дома Вовкиных голубей, сердце мое в груди стучало радостно: голуби на крыше, значит — Вовка дома, и дома все в порядке. Такая связь с присутствием Вовки дома и голубями у меня сложилась неволью, потому что я давно заметил, что если голубей дома нет — значит Вовка опять заработал себе очередной срок и отбывает очередное свое заключение в колонии или

тюрьме. Да, так было всегда: Вовка попадал в заключение, и голуби из дома исчезали. Я не знал сначала, куда они деваются, а потом увидел, как Филипп Петрович — отец — отправляет Вовкиных голубей в суп. Оставшихся же в живых голубей Александра Петровна — мать — заталкивала в мешок из-под картошки и относила соседским голубятникам, тем, которым Вовка доверял их на хранение. Правда, старые голуби домой уже почти никогда не возвращались. Отбив срок, Вовка заводил новых голубей, принося домой птенцов и выкармливая их, как вскармливают их взрослые голуби — родители — из своего рта, пережевывая хлеб и пшеницу и поя их набранной в рот колодезной водицей. Иногда Вовка приносил домой уже больших, но молодых еще голубей, выменяв их на что-нибудь у знакомых голубятников, и подолгу держал их с перевязанными нитками крыльями, чтобы не улетели к прежним хозяевам и привыкли к новой для них стае. Бывало, какого-нибудь из этих принесенных домой голубей он спаривал с голубем из своей стаи; таких спариваемых им голубей он держал вместе в одной клетке и переводил их жить в общую голубятню только тогда, когда голубка сносила яички и из них вылуплялись птенчики. Помню, приеду из интерната домой, войду в дом и услышу вдруг, как на кухне под столом воркуют голуби; посмотрю под стол — а там опять стоит сколоченная из тонких дранок клетка, и в ней

сидят два голубя -воркуют, знакомятся, привыкают друг к другу, создают семью.

...В то далекое уже время по радио часто звучали песни про голубей. Каждый раз, когда, поднявшись по лестнице на плоскую крышу сени, Вовка поднимал разливистым свистом в небо своих голубей и, продолжая свистеть, размахивал длинным шестом с привязанной к его концу тряпкой, когда голуби поднимались в небо все выше и выше, я, стоя во дворе и задрав голову, смотрел в небо на голубиную стаю с восхищением, и мне казалось тогда, что вокруг меня звучит какая-нибудь одна из этих песен — широкая, раздольная, многоголосая, охватывающая, казалось, своим звучанием все небо над моей головой. «Летите, голуби, летите...!» — повторял я часто слова одной из этих песен, и мир мне тогда казался светлым и радостным. Когда же голуби из дома исчезали, то казалось, что дома поселялась тоска, и отец пьянствовал еще круче.

За свою жизнь Вовка построил дома несколько голубятен. Помню, одна голубятня была им построена во дворе в виде высокого пчелиного улья. Но, видимо, ему показалось, что голуби, живущие в этой голубятне, стоящей на улице во дворе, были не в полной безопасности, и он построил другую голубятню, уже внутри сарая, стоявшего в нашем дворе поодаль от летней кухни; в этом сарае был погреб; в сарае хранили дрова и всякие не первой необходимости вещи: лопату, грабли, метлу и прочее.



Со временем Вовка эту вторую свою голубятню сломал и построил свою очередную голубятню, уже последнюю, прямо в доме — в чулане, который был в конце сеней. Помню, бывая дома, я несколько раз заглядывал в этот чулан и даже заглядывал из любопытства в самую голубятню - оббитую жестью, с крепкой квадратной дверцей и прилаженной к ней лесенкой в несколько - кажется, пять - ступенек; там в стене было выпилено квадратное отверстие на улицу; через это отверстие голуби вылетали на вольный воздух, а по утрам в голубятню проникало солнце, и голуби, благодаря ему, знали, когда на улице стоит день, когда - вечер, а когда наступила на земле ночь. Это квадратное отверстие было в той стене дома, точнее сеней, где мы — Вовка, Виктор и я — любили иногда посидеть на приложенной там к стене скамеечке, погреться на утреннем солнышке, а Вовка — еще и тайком покурить украденные у отца махорку или папиросы.

Сейчас, глядя на его жизнь с высоты прожитых мной лет, понимаешь, что уже подростком — смышленным в общем-то мальчишкой, но не по возрасту дерзким — этот брат мой Вовка стал строить свою биографию, пусть и неосознанно, мало привлекательную для большинства людей, а проще говоря, неприглядную, лишенную главного ее элемента — счастья. Хотя он, может, и испытывал чувство счастья в некоторые минуты своей жизни, — жизнь ведь состоит не только из годов, месяцев, дней,

часов, но и из составляющих эти часы минут ~ в общем-то он не был в жизни своей по-настоящему счастлив, а, судя по ее финальной стадии, можно сказать, что жизнь он прожил несчастливую, разумеется, по моим понятиям. С мальчишеских лет он стал воровать. Сначала воровал у отца махорку и деньги, потом стал воровать голубей. Учиться в школе он не хотел, пошел работать на кондитерскую фабрику — бисквитку — в тарный цех сколачивать ящики: сколачивать ящики и тащить домой печенье и конфеты целыми ящиками. Сколько раз бывало, приеду из интерната домой, загляну в нашей комнате за печкой под широкую кровать, а там уже стоят ящики с печеньем или конфетами; печенье упаковано в пачки, — ящики уже вскрыты — и можно его есть сколько влезет. «Наворуешься ты! Ведь посадят же!» — говорила ему дома мать Александра Петровна. Не слушал никого Вовка. Доворовался. Посадили. И с этой первой его отсидки жизнь Вовкина - безолаберная - пошла, поехала, покатила, как машина по кочкам. Помню, один раз долгое время в нашем сарае прятался им чей-то мотоцикл. Отцу Вовка говорил, что ему дали его на хранение. Как-то дома появился баян, и Вовка и Виктор на нем пикикали, учились играть, не прикасаясь уже к старой потертой гармошке, которую когда-то отец, Филипп Петрович, купил на базаре по пьянке, чтобы дети его учились на ней играть. После первого срока Вовка заработал второй срок, а затем и третий. Этот, третий,

— уже за ножичек: пырнул им девчонку, которая стала ему изменять. Вовке тогда дали за этот ножичек большой срок. И с того времени, когда его посадили за ножичек, он дома уже больше не появлялся, и стайка голубей тоже не появлялась больше у нас дома уже никогда. Но помню, как однажды у меня в груди радостно, щемяще стукнуло сердце, когда я шел домой с реки и вдруг увидел на коньке крыши нашего дома голубя; в голове даже мелькнула тогда шальная мысль: «Вовка домой вернулся!» Но это было, конечно, не так. Голубь на крыше был один. Он просидел на нашей крыше до самого заката солнца. А когда солнце спряталось за горизонтом и небо стало алым, сорвался с крыши и полетел куда-то вглубь города, прочь от нашего дома. Я видел этого улетающего от нас голубя, как он мелькал еще какое-то время за тополями, стоящими во дворе детской больницы, и в соседнем переулке и наконец скрылся с моих глаз навсегда. С этого дня голуби в нашем доме больше не появлялись, и Вовка не появлялся тоже — сгинул где-то в Сибири на нефтеразработках. Пропал для меня навсегда, как и его голуби...

## СЛОВО ОБ ОТЦЕ

Филипп Петрович Пчельников - мой отец, работал в речном порту, на Амуре - грузчиком. У тамошних грузчиков он был, как я слышал, бригадиром. Он не воевал. В войну с немцами

(Отечественную) ему дали бронь. Из этого можно судить, что он был неплохим грузчиком и бригадиром, раз речному порту он был необходим даже в войну. Войну с японцами он тоже провел в качестве грузчика. Из слышанных мной дома разговоров я знаю, что он занимался в это время перевозкой через Амур на китайский берег военной техники, боеприпасов и всего необходимого для ведения военных действий с сильным — какими и были всегда японцы — противником. Во время войны он часто бывал на том берегу и привозил оттуда домой всякие трофейные вещи. Однажды он даже привез с той стороны японскую винтовку; он отпилил у нее ствол, и получился обрез. Этот обрез Александра Петровна уговорила в конце концов Филиппа Петровича выбросить, что он скрепя сердце, попереживав, и сделал. Чаще же всего Филипп Петрович в войну привозил с того берега домой китайскую водку - ханжу. Этой ханжой он провонял тогда весь дом. Ханжу отец распивал со своими товарищами — грузчиками, Александра Петровна - мать моя - не успевала тогда готовить им закуску: пили и ели грузчики всегда много; пьяные они резались в карты и часто даже на деньги. В пьяном виде Филипп Петрович часто буянил. Тогда с ним никто не мог сладить. После войны в мирное время он все так же работал в порту грузчиком.

Когда отец был трезвым, он, казалось мне, был спокойным, вечно о чем-то размышляющим. Я видел

его тогда сидящим на кухне в углу у окна за столом, читающим вслух толстую книгу. Он читал, а Александра Петровна, стоя у печки, на которой что-то там варилось в кастрюле, его слушала и иногда скептически на него поглядывала, видимо, помня его недавние буйства и зная, что это его спокойствие и мирная жизнь в доме продлятся недолго — до следующей полочки в порту. Иногда я видел отца прогуливающимся во дворе нашего дома. Прогуливаясь по двору с заложенными за спину руками, он что-то мурлыкал себе под нос и вид имел человека размышляющего, напряженно о чем-то думающего, ищущего ответ на какой-то стоящий перед ним трудный вопрос, такой, на который ему не дано найти ответ вовек. Когда я видел его таким во дворе нашего дома — бревенчатого, со ставнями на окнах, стоящего недалеко от речного порта возле железнодорожной ветки и реки Амур, я — мальчишка тогда, приезжавший домой из интерната — присматривался к нему тайком, удивлялся его спокойствию и думал, что это спокойствие отца ненадолго, что царящее в нем какое-то напряжение чувств и мыслей скоро в конце концов прорвется наружу и разрядится в очередной буйной попойке. В пьяном виде отец проявлял часто характер человека необузданного. Несколько раз я слышал, как он даже разговаривал с радио, пугая меня этим, заставляя думать, что у него уже началась белая горячка.

... Он умер в первый же год своего выхода на пенсию, в теплый майский день, когда, казалось, в мире, на земле, в природе все подспудно кипело, наполнялось внутренней энергией и готовилось прорваться после отступившей уже зимы к новой жизни, к очередному цветению, буйству красок, когда небо было особенно ярко, солнце ослепительно, а птички изнемогали в играх и радостно перекликались по утрам за закрытыми еще ставнями на окнах нашего дома, в котором мы, люди, его обитатели, уже просыпались...

В тот день, когда умер отец, я был в интернате. Была суббота, и в интернате после уроков в школе все разъезжались по домам. Интернат пустел, в нем оставались только воспитанники, которым некуда было ехать или ехать было очень далеко. Помню, в тот день я все оттягивал свой отъезд домой и даже собирался вовсе не ехать, а остаться на выходные дни в интернате, но воспитательница заставила поехать. И я поехал.

Несколько кварталов я проехал на автобусе, несколько прошел пешком. Когда я подошел к дому, был уже вечер. Я открыл калитку; цепь у меня над головой глухо загрела и, притянув у меня за спиной калитку в исходное положение, затихла... Да, точно помню, был тогда уже вечер. Помню даже, что работали в порту краны. Сюда, во двор, залетали их тяжелый скрежет и резкие звуки — взвизги. Слышно было, как ковшами своими они загребали на баржах-

плоскодонках гравий и высыпали его на берегу, растя там целые горы его. Когда я вошел в дом, то увидел, что дома, как и во дворе, никого нет. Это меня удивило и обеспокоило. В большой комнате, называвшейся у нас залом, как всегда было включено радио, и в доме негромко звучала музыка: скрипка подпевала жалующемуся на что-то фортепиано. Я невольно стал вслушиваться в жалобу этих двух инструментов. А сердце уже ныло от предчувствия приближающегося ко мне страшного известия... Я стоял в ту минуту на кухне; сюда в окно заглядывало вечернее солнце. Вдруг стукнула калитка во дворе. За окном к крыльцу кто-то прошел. И вскоре в дом вошел незнакомый мне человек, застыл на месте, посмотрел по углам, взглянул на меня и сказал, что по улице прошел слух, что Филька умер...

В тот же час я вернулся в свой интернат — только в нем я увидел тогда убежище для себя от житейских невзгод и страшных известий. Но весть о смерти отца ко мне в интернат пришла на следующий же день... Я домой не поехал и на похоронах отца не присутствовал. Филиппа Петровича хоронили грузчики из порта, Александра Петровна и мой брат Виктор. Филиппа Петровича похоронили на кладбище, которое в нашем городе давно называют «старым» - оно теперь находится в черте города и обнесено кирпичным отштукатуренным и побеленным забором.

Давно умер мой отец Филипп Петрович. Но он не исчез с лица земли бесследно. Он еще на земле живет, правда, живет только в моей памяти. Он все еще в моей памяти пьянствует, буйнит, все еще, сидя на кухне на своем излюбленном месте — за столом в углу у окна, читает вслух толстую книгу и все еще ходит по утрам в речной порт на работу...

## НАША РЕКА

Река Амур в нашей семье была рекой «нашей», своей, чуть ли не домашней. Да, именно так. Потому что Филипп Петрович — отец мой — в порту, стоящем на этой реке, работал, а Александра Петровна — мать — в воде, приносимой с этой реки, стирала белье. Помню, даже зимой воду для стирки белья приносили домой именно с реки, не из колодца — брали воду из проруби, прорубленной специально для этой цели. А бывало и так, что с реки приносили блестящие куски льда и растапливали их в ведре, поставленном на горячую плиту нашей печки. По утрам в летнее время мы с Виктором — братом моим — бегали из дома на эту нашу реку умываться или искупаться. Также на этой реке мы с ним часто рыбачили; а зимой с нашими друзьями — мальчишками из соседнего переуллка, катались по льду реки на самокатах и так — на собственных подошвах. Тогда режим на нашей пограничной реке не



был очен

ь уж строгим: летом допоздна можно было на реке рыбачить, а зимой спуск на лед был свободным, и тоже до вечера можно было находиться на льду, что мы, мальчишки, иногда и делали: катались на самокатах или на прикрученных к валенкам коньках или просто бегали по льду, гоня прыгающую по льду жестяную банку.

Помню, одно время на берегу нашей реки, где сейчас находится таможня, был сооружен угольный склад - построена из бревен высокая эстакада; на эстакаде положили рельсы так, что на нее тепловоз мог загонять вагоны с углем, которые на этой эстакаде разгружались рабочими, и уголь большими горами лежал по обе стороны эстакады; по этим кучам угля лазил урчащий трактор, тут же работал экскаватор - грузил уголь на машины, и те увозили его в город, туда, где он нужен был. Мы же, Пчельниковы, ходили этот уголь воровать, ходили по ночам — я, Виктор и Александра Петровна. Александра Петровна ходила даже часто одна зимой — в телогрейке, с большими ведрами. Железнодорожная ветка была освещена тогда фонарями; рельсы в свете этих фонарей, луны и звезд тускло блестели; мы, как тени, как настоящие преступники, пробирались через железнодорожные пути к кучам угля, брали его и тащили домой. В порту в это время — зимой — стояла тишина: краны не работали, хотя и были освещены электрическими лампочками, но днем

некоторые из этих кранов работали даже зимой — загружали или разгружали вагоны, снимали прибывший в порт с плоских на колесах платформ груз. В летнее же время порт работал круглосуточно, и круглосуточно работала наша река: даже по ночам было слышно, как скрежетали на ее воде землечерпалки и плавучие краны, подавали кому-то гудки буксиры.

...Время течет. Все меняется. Угольного склада на берегу реки давно нет. Нет и нашего дома, в котором когда-то жила непутевая наша семья Пчельниковых. Нет в живых Филиппа Петровича и Александры Петровны... А вот речной порт на нашей реке Амур все стоит, все работает. И все работает наша река — несет свои воды по нашей Амурской земле к океану. И нести ей так свои воды по нашей земле вечно. До скончания веков...

2003г.

## НАДЕЯТЬСЯ НАДО

В груди, прямо в сердце, боль, а в душе уныние, вызванное сознанием близкого конца. Если сердце мое остановится сегодня, то это и станет причиной моего конца уже сегодня. А мне так хочется жить - жить и жить даже в том состоянии, в каком я нахожусь. Ведь все может еще измениться к лучшему. Надеяться надо.

Вот если бы еще суметь открыть глаза, которые закрыты настолько плотно, что я не в силах поднять веки. Тяжелые, как каменные плиты, веки. Кажется, суметь бы только поднять веки и жизнь меня уже не покинет.

... Как будто б колеблются занавески на окне. Как это бывало в родительском доме. В детстве. И словно я вернулся домой, в детство. Мерещится: вода, солнце, деревья, тень от деревьев, мать на крыльце. «Там, где лужи, не играй, Костя!» - кричит она. Там, где кусты полыни и всякое разнотравье, за их зеленой стеной, сияет в заборе дыра. Слегка раздвигая зеленую массу травы, я подбираюсь к дыре и осторожно выбираюсь на улицу. Тут, у дыры - куст карагача. Я невзначай задеваю этот куст, и с веток и листьев его обрушиваются на меня потоки воды, холодной, блестящей. Я проворно выскакиваю из этих потоков и оказываюсь на дороге.

Солнце. Вода на дороге. Справа от дороги - мокрый забор. Слышен голос матери, зовущей меня:

— Костя! Костя!

Не оборачиваясь на ее зов, я иду по дороге туда, где у старых сараев играют дети - мои друзья. А мать все зовет меня:

— Костя! Костя!

Тяжелые веки мои наконец медленно поднимаются, и я вижу стоящую у постели женщину в белом халате. Эта женщина — врач. Она что-то спрашивает у меня. На окне колеблется занавеска. Занавеска насквозь пронзена солнцем.

— Я себя чувствую удовлетворительно, — кажется, произношу я. Но голоса своего я не слышу.

Потом глаза мои закрываются, и мне снова мерещится: вода, солнце, деревья, тень от деревьев, мать на крыльце и ее голос. И будто бы снова, не оборачиваясь на ее зов, я иду по дороге...

## КАРТИНКИ ДЕТСТВА

На самой окраине города стоял бревенчатый дом. Обыкновенный дом. Но примечательный тем, что это был мой родной дом, и в нем жила наша семья, в которой я был последним ребенком.

Отец работал в порту. Мать на "Амурском металлисте". Трудная была жизнь у нашей семьи. А все потому, что отец пил. Я воспитывался в интернате, но дома бывал часто, приезжал во время зимних и летних каникул. Приезжая домой, я первым делом здоровался с братьями, которые встречали меня во дворе. Потом заходил в дом и приветствовал родителей, если они были дома.

Хорошо было дома, когда отец был трезв: тихо играло радио в большой комнате-зале, за окнами шелестела ветвями черемуха, чирикали воробьи, ворковали голуби... Отец читал книгу вслух, сидя в кухне за столом, медленно и трудно произнося слова, будто совсем малограмотный.

По утрам мы ходили с Виктором, моим братом, на Амур удить рыбу. Амур был рядом, сразу за веткой железной дороги, ведущей в речной порт, где свистели тепловозы и скрежетали, работая, высокие порталные краны. Старший мой брат, Владимир, с нами на рыбалку почти никогда не ходил: у него было свое занятие - голуби. У него было много голубей

разных пород: ленточные, дутыши, почтари и другие, названия которых я не запомнил.

Когда я входил во двор, приехав из интерната, то сразу видел воркующих во дворе голубей. От хлопка калитки они взлетали и рассаживались на крыше дома. Иногда Владимир влезал на крышу сенцев, пронзительным свистом поднимал голубей в небо и любовался ими, высоко поднявшимися в синеву.

Осенью, когда на улице шуршали дожди, дома бывало скучновато. А вот зимой, бывало, проснешься, откроешь глаза, посмотришь в окно, увидишь белое небо, деревья с кусками снега на ветках, и сердце вдруг забьется радостно. Потому что в сенцах лежат самокаты, и мы с братом и друзьями-мальчишками снова пойдем на них кататься. А кататься на этих самокатах было очень весело, веселее даже, чем на лыжах и санках с горок.

Такая была наша семья. А ныне я остался почти один. Родители умерли, братья далеко. О старшем давно ничего не слышать, жив ли он - неизвестно. И дома родительского тоже давно нет. Но прошлая детская жизнь в моей памяти жива и воспоминания о ней греют сердце. Греют, несмотря на то, что жизнь в том бревенчатом доме, когда-то стоявшем на окраине города, была не особенно радостной и частенько даже с привкусом горя.

## РОДНОЙ КАЗЕННЫЙ ДОМ

Мой родной детский дом находился в городе Свободном. Я не знаю, как он именовался, но хорошо помню, как он выглядел -одноэтажный, с большой застекленной верандой и высоким крыльцом. На него детям, его обитателям, особенно малолетним, было нелегко подниматься, потому что ступеньки крыльца были высокие. Надо было высоко поднимать ноги.

Нас, детей, в детском доме было несколько групп: младшая, средняя и самая старшая, в которой ребята уже подходили к семилетнему, то есть школьному возрасту. Хорошо жилось нам в этом детском доме, хотя и грустно, потому что все страшно тосковали по родителям, по дому родному, а не казенному.

Зимой мы жили в городе, проводя время в играх и разных занятиях: рисовали, лепили из пластилина, слушали разные сказки и истории, которые нам читали по книжкам воспитательницы -добрые, заботливые женщины, заменившие нам наших матерей. А летом нас вывозили в летний лагерь, который находился за городом на речке с названием Пера.

Замечательно было проводить время в этом летнем лагере. Лагерь состоял из нескольких дощатых домиков-палат и большой, тоже сбитой из досок, кухни-столовой. В этих палатах мы спали

ночью и отдыхали во время послеобеденного тихого часа, в столовой - завтракали, обедали, ужинали, а также иногда чем-нибудь занимались, сидя за столами. Это происходило тогда, когда на улице шел дождь или погода стояла ненастная, ветреная.

Вокруг наших палат был лес - негустой, просторный и солнечный. В этом лесу мы собирали цветы, землянику, бруснику и костянику, а под осень находили в овраге, глубоком и сыром, голубику-синюю ягоду.

В речке нас еженедельно купали. Вода была быстрой и прохладной. Нас намыливали с головы до ног и окунали с деревянного настила-мосточка так, что иногда казалось: вот нечаянно воспитательница не удержит в руках, и закружит тебя вода, понесет и потопит в своей холодной глубине. После такого купания мы бежали в свои палаты и укладывались на топчанчики под простынки.

Во время тихого часа часто не хотелось спать, и самые отважные через поднятую фрамугу окна выбирались из палаты на улицу. Там, снаружи, тайком наслаждались свободой: бегали по траве, играли возле золотистых, пахнущих смолой сосен, наблюдали за бегающими среди желтых хвоинок большими черными муравьями. Мы даже пробовали их на язык: насекомые были кисловаты, но кислота была приятной, хотя вкус ее был резок, как удар сосновой шишки по голове.



Летние дни пролетали быстро. И вот наступал день, когда надо было возвращаться в город. Если бы кто знал, как не хотелось нам возвращаться после жизни в летнем лагере в город! Особенно были подавлены этим обстоятельством дети старшей группы, ведь им предстояло и того хуже - покинуть детский дом навсегда, чтобы начать учиться в школе. Хорошо, если за детьми приезжали их родители, но большинству предстояло жить и учиться в школе-интернате: такая у них была участь - участь, искренно говоря, не из лучших. Если бы кто знал, как они не хотели уезжать из своего детского дома, ведь он стал для них почти родным, а воспитательницы такими близкими им людьми, что, расставаясь с ними, нельзя было не плакать, не быть в отчаянии.

...Давно уже я пожилой человек, а детский дом все-то не забыл. Вряд ли кто из обитавших тогда в нем не вспоминает о нем в минуты грусти. Вот и я загрустил сегодня, вспомнил о моем малолетстве, детском доме и его обитателях. Но грусть эта не высекающая из глаз слезы. Грусть эта светлая.

## ЖИЛИ МЫ КАК У БОГА ЗА ПАЗУХОЙ

Когда смотрю на здание школы-интерната, в котором жил и учился, где прошло все мое школьное детство, я так иногда расчувствуюсь, что долго не могу унять набегающие на глаза слезы. Бог мой, как мы отлично жили в этом интернате! Мы дети, подростки, учащиеся жили как в одной большой семье: старшие классы шефствовали над младшими, а воспитатели и учителя были людьми такими приветливыми, предупредительными, добрыми, отзывчивыми.

Сейчас нередко можно услышать, что в приютах, детских домах, интернатах многого не хватает, что там недостаточно даже необходимой детям одежды. А в то, совсем еще недалекое время, дети в нашем интернате жили как у Бога за пазухой: были одеты-обуты, сыты, привечены. Нам там даже выдавали каждому одежду повседневную и школьную, до сих пор помню эти школьные костюмчики и фуражки с лакированными блестящими околышками.

...День в интернате начинался с объявления подъема. Интернатовцы поднимались с постелей, заправляли их, делали зарядку и бежали в умывальные комнаты умываться, потом строем шли в столовую, а из нее в школу. Помню уроки, книжки с картинками. До сих пор стоят перед глазами эти

картинки из "Родной речи": "Три богатыря", "Грачи - прилетели", "Весна - большая вода" - на ней были изображены березки, лодка унесенная откуда-то водой, - такая одинокая, потерянная, безхозная...

А знаете, как хорошо отмечались в интернате праздники, особенно Новый год! Большую заиндевевшую сосну привозили за несколько дней до праздника. День она лежала, - оттаивала. Потом ее устанавливали в большом спортивном зале и, установив, начинали наряжать. Наступал день праздника для младших классов с Дедом Морозом, Снегурочкой, с пением песен, хороводом, забавными играми и аттракционами и, конечно, с вручением новогодних подарков. А вечером для учащихся старших классов проводился новогодний бал, заканчивавшийся уже под утро.

Да, я не могу сказать об интернате ничего плохого. Конечно, дети, жившие в интернате, были лишены домашнего очага, материнской ласки. Но воспитатели и учителя делали все возможное, чтобы они как можно меньше страдали от этого, чтобы не озлобились, чтобы души их оставались светлыми.

Годы проходят, жизнь стала какой-то беспокойной, а у некоторых очень трудной. У меня тоже часто душа не на месте. Но вспомню об интернатовском детстве, интернатовцах, и на душе посветлеет, и жить становится легче.

## НАКАНУНЕ ОТЪЕЗДА. В ДОЖДЬ

Начинало накрапывать. Но мальчика тянуло из дома на улицу, и он, несмотря на начинающийся дождь, пошел из дома, потом вышел за ворота. Выражение лица у него было очень грустным: он завтра должен был покинуть родительский дом и вернуться в школу-интернат после летних каникул. Так что причина его грусти была существенна и понятна.

Сначала накрапывало, вскоре заморосило. Но мальчику это даже нравилось: погода отвечала его настроению. Притом же он не опасался дождя: на нем были непромокаемый плащ из плотной, похожей на дерматин, ткани, на ногах - резиновые сапоги, на голове -кепка, а руки ему всегда можно было спрятать в карманы.

Его тянуло побродить в одиночестве. Да - в одиночестве. На соседнюю улицу и в переулок, где он может встретиться с приятелями - мальчишками, он сегодня не пойдет: ему сегодня не до игр и развлечений. Он лучше пойдет по железнодорожному полотну мимо тарной базы, хлебозавода, в сторону тихого и пустого сегодня парка. Как он решил, так он и сделал. Он пошел к железнодорожному полотну и по шпалам направился в сторону парка.

Дождик по-прежнему моросил на железнодорожные рельсы, шпалы, на жилые

постройки, находящиеся вблизи речного порта с его скрежещущими порталными кранами, на тарную базу, хлебозавод... Проходя мимо хлебозавода, мальчик с наслаждением потянул воздух носом: в воздухе пахло свежее испеченным хлебом, дождевой влагой, мокрой полынью - букетом волнующих его и приятных ему всегда запахов.

Вот дорога начала отклоняться налево, в сторону кондитерской фабрики, а направо уже была окраина парка. Березы, осины, черемуха, дуб - все здесь было смешано: аллей не было, были только протоптанные людьми тропинки. В этот дождливый день здесь было тихо и пусто.

Мальчик перешагнул через мокрый блестящий рельс, шагнул с мокрой шпалы на насыпь и по одной из тропинок вошел в парк. Тропинка тянулась среди травы, трава была мокрая. В некоторых местах она была выше его роста, в этих местах особенно сильно пахло мокрой травой, залежалыми листьями, задушенными грибами.

В одном месте мальчик остановился и стал смотреть по сторонам, потом, задрав голову, стал смотреть на стоящие вокруг него деревья и еще выше - на небо: клочья тумана проплывали над деревьями в небе, морось сыпалась с неба на деревья и в некоторых местах блестела на дневном свете.

С деревьев капало. Дождик шуршал в их листве и вокруг в неподвижной траве. Птиц не было слышно:

пискнула какая-то одна рядом и упорхнула. Тихо и грустно было вокруг, все словно плакало, как сердце десятилетнего мальчика.

Насмотревшись на мокрые деревья, мальчик пошел к стадиону, который виднелся за стволами деревьев. Стадион был открыт дождям и ветрам. Он был с большим футбольным полем, беговой дорожкой, с секторами для прыжков в длину, высоту, для метания копья и толкания ядра. Стадион был обнесен низенькой металлической оградкой с округлым поручнем по всей ее протяженности. Зимой этот стадион превращали в каток - место для соревнований конькобежцев и игры в хоккей с мячом.

Еще не доходя до окружающей стадион оградки мальчик увидел спортсмена, разминающегося на беговой дорожке. В одних синих трусах, окаймленных белой тесьмой, и кроссовках, он - загорелый, крепко сбитый, блестел под морозящим дождем как глянецвый: мокрая кожа его и мышцы так и переливались на дневном свете.

Спортсмен этот был молодой мужчина, черноволосый, с гладким лбом, с глубоко посаженными темными, с прямым твердым взглядом глазами, с плотно сжатыми, губами. Этого спортсмена мальчик часто видел на стадионе тренирующимся и почти всегда в одиночку.

Спортсмен делал гимнастические упражнения долго, упорно, а потом встал в позу стартующего

бегуна, стартовал и побежал по дорожке, тянувшейся вокруг футбольного поля, быстро, энергично сквозь светлую пелену дождевой мороси.

Оставив спортсмена на гаревой дорожке, мальчик пошел в глубь парка. Там были аттракционы, качели, карусели, чертово колесо, там был фонтан с бассейном, там были аллеи, и вдоль аллей стояли скамейки со слегка отклоненными назад спинками, там было все благоустроено и словно призывало: дети, играйте, развлекайтесь, будьте жизнерадостными. Но в этот день в парке никого не было, и качели, карусели, чертово колесо не работали. Омываемые дождиком, они выглядели сиротливо, навевали чувство одиночества, грусти.

Мальчик, обойдя аттракционы, подошел к фонтану. В бассейне фонтана вода была прозрачной, и на ней плавало несколько желтых листочков. Фонтан не работал. Но сверху, из возносящейся над бассейном бетонной тарелки проливалась вода и слышалось: ток, ток, ток - капли ударялись о воду бассейна.

Вдруг издалека зазвучала музыка. Мальчик сдвинул на затылок мокрую кепку, прислушался. Звуки музыки пробирались между деревьями, сквозь сеть мокрых веток осин и дубов. Музыка доносилась со стороны дощатого здания администрации парка. Но вот она неожиданно оборвалась, и снова стало слышно только шуршание дождика, который вскоре

припустил, а затем перешел в ливень, хлынул потоком. Мальчик спрятался от ливня под развесистым деревом вблизи фонтана.

Под деревом капало меньше. Мальчик присел на корточки и стал смотреть на дождь. Вода текла по аллеям ручьем, разваливаясь в разные стороны. Трава дрожала, пригибаясь к земле от ударов дождевых струй. Листья срывались с веток, а те, что держались крепко, блестели, омываемые водой.

Ливень стал затихать и вскоре совсем прекратился. И мальчик вернулся к полотну железной дороги. Рельсы железнодорожного полотна блестели, а от мокрых шпал душно пахло - мазутом, что ли?

Обратным путем по шпалам мальчик зашагал к своему дому. На ходу он считал шпалы. Он уже не был так уныл, как несколько часов назад. Ему даже хотелось, чтобы в небе выглянуло солнце.



## ЦВЕТЫ ВО ДВОРЕ

Когда мне было лет так четырнадцать, я заболел и лежал в интернатовском лазарете. Этот лазарет находился на первом этаже жилого корпуса. Окно его выходило во двор, и из этого окна двор был весь хорошо виден.

Лежать одному в лазарете было одиноко, и я подолгу смотрел из окна на двор, на покрытые асфальтом дорожки, на раскинувшиеся в нем цветочные клумбы. Цветы на клумбах мне казались живыми и одушевленными. Когда на улице светило солнце, цветы на клумбах, казалось, излучали переполняющую их радость. В пасмурные дни цветы были унылы. А в дни ненастные, дождливые они словно умирали-казались больными и угнетенными; тогда в комнате, где я лежал, пахло прелью, сыростью, и я чувствовал себя очень нехорошо.

Но появлялось на улице солнце, и цветы во дворе снова приобретали жизнерадостный вид - казались бодрыми и веселыми. И вместе с ними приободрялся я и чувствовал себя хорошо. Радующиеся ли солнцу цветы вселяли в меня эту бодрость, или настроение мое поднималось от появления за окном солнца независимо от цветов? - я не знаю. Но цветы на клумбах, разбитых посреди широкого двора школы - интерната, мне запомнились в связи именно с таким вот незамысловатым обстоятельством.

## РЕКА ВЗБУНТОВАЛАСЬ

Пекло, помню, здорово. А через песчаную косу перекатывались волны - огромные, неизвестно откуда взявшиеся. Мы с Костей стояли на этой косе, но волны нас сбили с ног и понесли в сторону берега, и выбросили на берег вместе с нашими удочками, как щепки.

- Река взбунтовалась! - закричали мы, удивленные и напуганные таким событием: солнце печет, а на реке волны высокие ходят...

Мы с Костей подальше отбежали от накатывающихся на берег волн и с удивлением смотрели на беспорядок, царивший на реке... Потом река успокоилась, и мы вернулись к воде. Но рыбу мы уже не удили, а сидели на берегу и смотрели перед собой на блестящую на солнце воду, на песчаную косу, желтевшую на реке перед нами... Мы были зачарованы рекой.

...Или магнитная буря притупила наше сознание, и мы пришли в оцепенение такое, что и рукой двинуть не могли? Не знаю. Не понимал я тогда, что произошло с нами.

Случай этот, правда, давний, но задавший мне загадку нелегкую. Я до сих пор не могу ее разгадать.

## РЕКА

Вот она, эта река, передо мной блестит на солнце вечереющем. Бревна неошкуренные и кора валяются на песчаном берегу. Некоторые бревна прямо на мелководье лежат, и их вода омывает прозрачная, прохладная, тихая. Рядом лесопилка. Но не визжат на лесопилке пилорамы, не скрежещут краны, потому что сегодня суббота, притом уже вечер; правда, солнце еще светит всюду, над горизонтом повиснув; река тихая, с мягкой гладью.

Река. Закат. Я на берегу. В сердце печаль. Вспоминается прошлое...

...Костя. Он всегда живет в моей памяти. Постриженный наголо, худой, с живыми газами.

В тот памятный день мы с ним с плотов рыбу удили: пескарей жирных, чебаков серебристых, красноперок. Солнце палило нещадно. На лесопилке пилорамы визжали. Реку буксиры бороздили, поднимая волны. На плотках мальчишки перекрикивались, по бревнам лазая, хотя это было и опасно. Обыкновенный был день, летний.

Удя рыбу, мы с Костей иногда окунались в воду прямо с плота. И вот, решив искупаться в очередной раз, Костя на моих глазах нырнул с плота в воду и, чуть отплыв саженками от плота, стал возвращаться к нему, слегка относимым течением. Подплыв к плоту,

он вскинул руки на бревно, чтобы на него взобраться, но тут огромный ошметок толстой коры вдруг отвалился от ствола, и Костя вместе с этим ошметком соскользнул обратно в воду и исчез под плотом - его утянуло туда течением. Я думал, что пройдет немного времени и, он вынырнет где-нибудь... Но он так и не вынырнул.

"Костя! Костя!" - стал я испуганно кричать. Увы, звал я его напрасно.

Больше я не увидел Костю живым.

Его нашли вскоре ниже по реке, где плотов уже не было. Он лежал у самой кромки прозрачной воды. Трое спасателей, сделав свое дело, рядом собирали свой инвентарь. Я боялся подойти к Косте близко и, стоя в стороне, глядел на него, мертвого, во все глаза. Я не плакал. Был только страх перед видом чужой смерти и удивление, которое она, смерть, во мне вызвала тогда.

А небо над рекой, плотами, лесопилкой по-прежнему было светлым, чистым, и на лесопилке по-прежнему визжали пилорамы.

...Нет давно Кости. Но в моей памяти он все еще продолжает жить, навсегда оставшись в ней мальчишкой, постриженным наголо, востроглазым. Ему никогда уже не повзростеть. И никогда уже ему не вырваться из мира прошлого в мир настоящий. Отняла у Кости жизнь эта река. Душа его растворилась в этой реке, в воде ее, и она, душа его,

наверное, пребывает в ней еще и по сей день, и останется в ней навсегда, навечно. О, как он любил эту реку! Он всегда называл ее "нашей рекой". "Мы живем на этой реке. Это наша река"- говорил он.

Он был отличным мальчишкой. Он хорошо рисовал и мечтал, когда вырастет, стать художником. Может, он и в самом деле стал бы им, художником. Но судьба, как это часто бывает, распорядилась по-своему...

Костя, друг! Живу сегодня, крепко помня о тебе. И любя эту реку, нашу с тобой реку. Хотя она и отобрала тебя у меня, отобрала у жизни...

## ПЕС АМУР

Мой пес по берегу реки бежал впереди меня, громко лаял на волны и даже запрыгивал в воду, когда очередная волна откатывалась, а он пытался ее преследовать. В радостном настроении, видно, был пес: забавлялся, бегал, прыгал, высунув язык, и порой жадно лакал воду.

Вдруг он клацнул зубами и зарычал, встав в такую позу, будто его кто-то хочет втощить в воду, а он упирается, напрягшись всем телом, и не хочет идти в воду, и злится на то, что его тянут. "Что это с ним?" - подумал я. Тут я увидел, что в воде недалеко от берега что-то заплескалось, заходило. "Рыба!" - подбежал я к псу. Волна нахлынула, и ноги мои оказались в воде. Но я уже успел схватить рукой то, что пес мой крепко держал зубами.

Это был перемет - веревка с привязанными к ней на длинных поводках из суровой нитки крючками. Видно, с какого-то места реки, где его кто-то поставил, перемет уволокла попавшаяся на крючок рыба, а потом перемет прибило к этой части берега, где и обнаружил его мой пес и вцепился в веревку зубами.

Я стал пытаться вытянуть перемет на берег, но рыба заходила в воде, заупиралась, и у меня не хватало сил справиться с ней: я был тогда

мальчишкой, следовательно, слаб. Пес прыгал, лаял, рычал и бросался в воду, чуя близкую добычу.

Мне все-таки удалось выловить рыбу на мелководье и, когда пес увидел эту рыбу, он бросился в воду и, добравшись до нее, вцепился в нее зубами и поволок к берегу. Он едва с ней справлялся, но все же справился и выволок на песок. Рыба была большая, с огромными жабрами, которые жадно открывались, когда она дышала.

Кое-как я тогда дотащил эту рыбу до дома. Помню, тащу я эту рыбу, а пес мой рядом бежит, охраняет будто. Умный был пес и сильный. Амуром его звали.

## ГОСТИНЕЦ ДЛЯ ДОЧУРКИ

Падал мокрый снег. Солнце еще не зашло, но сквозь мутную пелену светило тускло и уже начинало медленно проваливаться за горизонт - туда, за холодную реку.

Подняв воротник демисезонного пальто и нахлобучив на самые глаза кожаную кепку, Володин не спеша шел по набережной. Он был высокого роста, с твердыми чертами лица, хмурый и озабоченный, со взглядом неуверенного в себе человека. Он никуда не спешил, просто шагал по набережной, засыпанной снегом, и дышал сырым промозглым воздухом ненастного дня. Домой идти ему не хотелось: там было нехорошо, неуютно. Он пока еще работал, но денег домой не приносил (не давали зарплату), и жена постоянно упрекала его за это. Он устал от этих попреков, и дома стал чувствовать себя не в своей тарелке. Поэтому, по возможности, убежал на улицу. И сегодня убежал. И вот уже более часа бродил по городу под падающим с неба снегом, переживал, думал: "Как жить? Что делать?"

Свернув с набережной, Володин пошел по тротуару вдоль высоких домов. Снег падал ровно, бесшумно, облепляя карнизы, деревья, столбы, провода. Автобусы и легковушки размазывали его на дорогах, превращая в рыхлую грязь. Люди быстро



шагали по тротуарам с хмурыми, озабоченными лицами.

Возле одного пятиэтажного дома Володин остановился и стал смотреть на верхние окна. В этом доме жил один его хороший приятель - коммерсант, предприниматель, у которого всегда при крайней нужде можно было занять денег. А он и его семья сейчас испытывали крайнюю, позорную для нормального человека нужду. Поэтому ноги невольно привели Володина к дому его состоятельного приятеля. "Зайти или не надо?" - спросил он себя. И решительно вошел в дом.

Он долго стряхивал с себя снег в полутемном подъезде. Потом, не спеша, поднимался по лестнице, долго топтался у двери, не решаясь позвонить. Наконец позвонил.

Что-то мелодичное звякнуло внутри квартиры, когда Володин нажал на кнопку звонка. Дверь открыл сам хозяин квартиры Егор Семин, молодой человек чисто выбритый, чисто ясным внимательным взглядом серых, слегка расширенных глаз.

- Проходил мимо и вот решил заглянуть к тебе. Погода на улице такая промозглая, - точно оправдываясь, сказал Володин.

- И правильно сделал. Раздевайся. Проходи. Согрейся. Напою тебя кофе с коньяком, - радушно сказал Семин. - А погода сегодня, в самом деле, прескверная.

-Люба дома? -спросил Володин. -Андрейка твой чем занимается? Все с компьютером?

- Люба с Андрейкой уехали навестить маму, она что-то приболела, -ответил Семин, -Я сегодня совершенно один.

Вскоре они уже сидели на кухне за столом и пили коньяк с кофе. На столе были лимоны, печенье, конфеты. Каждая конфета была обернута тончайшей золотистого цвета фольгой. Лежали они в хрустальной изящной работы вазочке.

Володин спросил у раскрасневшегося уже Семина о его работе, делах.

- Неплохо идут дела. Но эта неустойчивость, неопределенность на финансовом рынке держат в постоянном напряжении. Не знаешь, что ждать от нашего правительства, - ответил Семин и спросил в свою очередь заинтересованно: - А как обстоят дела у тебя? Вижу, не блестяще...

- Зарплату не выплачивают, - сказал Володин и после паузы добавил: - Но ведь она когда-нибудь будет выплачена?

Вдруг зазвонил телефон в зале. Семин вышел из кухни и стал с кем-то громко разговаривать. Володин остался за столом один.

"Богатый у Егора всегда стол, - думал Володин, глядя перед собой, - кофе, коньяк, печенье, конфеты... А у нас дома молоко не каждый день увидишь. И

таких конфет в золотинках моя дочурка давно уже не пробовала, наверное, и вкус их забыла. Попрошу-ка у Егора конфет для дочери. Или просто взять несколько штук и положить в карман?" Помедлив, он протянул руку к вазочке с конфетами, взял несколько штук и опустил в карман пиджака.

Вернулся в кухню Семин с довольным сияющим лицом. Потирая руки, он сказал громко:

- Почему бы нам не выпить еще коньячку, а? Наливая коньяк в тонкого стекла рюмочки, спросил:

- Тебе, может, надо денег? Ты скажи. Я одолжу без лишних слов, сам знаешь.

Володин помолчал и ответил:

- Одолжи. Две, нет, три сотни, - и хмуро посмотрел в глаза Семина, - Я верну.

- Не сомневаюсь. Вернешь, когда будут.

Через некоторое время Володин снова был на улице. Снег по-прежнему падал с сумрачного неба. Идя по сырой улице, он сунул руку в карман, удостоверюсь, что деньги, хотя всего-то лишь триста рублей, у него теперь есть, и нащупал конфеты. Поморщился, вспомнив, как он тайком положил их в карман. "Для дочурки гостинец, - подумал он зло. - Сначала берешь без спроса конфеты, потом вещи будешь также брать, а там и за деньги примешься... Скверно. Вот до чего доводит безденежье".

Тут он увидел мальчишку, стоящего на автобусной остановке: съезжился, личико посинело от

холода. Володин вынул конфеты и протянул их продрогшему мальцу.

- Бери, ешь, - сказал он.

- Спасибо, дядя! - крикнул Володину мальчишка.

- Не за что, брат, - отозвался, отходя от мальчика, Володин.

Быстро темнело. Володин спешил домой. Сегодня жена его не упрекнет: в кармане у него было триста рублей - очень большие деньги!

## ЧЕЛОВЕК НА СВАЛКЕ

Сияла заря. На горизонте, за рядом кирпичных домов растекалось ее розовое пламя. Потом из-за горизонта выкатилось розовым мячиком солнце, плеснуло теплым светом, и тихое летнее утро стало наполняться звуками, голосами, движением - город стал просыпаться, улицы - оживать.

В такой вот ранний час светлого летнего утра из подвала одного из домов выбрался на улицу на свежий воздух Романыч - один из городских бомжей, небритый, грязный, в потрепанной одежде, еще не вполне протрезвевший за ночь. Выбравшись на улицу из подвала, Романыч жадно втянул в себя воздух: воздух был удивительно свежий и в нем слышался запах чего-то съестного-это в какой-то ближайшей квартире что-то жарили на сковороде, запах от сковороды выходил из открытой настежь форточки и распространялся по улице.

Подышав этим аппетитным воздухом, Романыч пошел своим обычным путем, каким он ходил почти каждое утро - по дворам в поисках пустых бутылок и чего-нибудь съестного. Обойдя два двора и не найдя ничего существенного, Романыч вошел в следующий двор и увидел, что возле мусорных контейнеров крутится какой-то мальчишка: мальчишка вытаскивал что-то из контейнера и совал себе в рот. Романыч поспешно затрусил к нему.

- Эти контейнеры мои и их содержимое тоже мое! - крикнул он грозно. - Марш отсюда!

Мальчишка отбежал от контейнера в сторону, остановился и вдруг соорудил Романычу рожу.

- Э-э, пропойца, побирушка! - крикнул он, быстро скрылся за домом, и из-за угла его стал выглядывать.

Вытащив из контейнера несколько пустых бутылок и кусок зачерствевшего хлеба, Романыч зашагал дальше. Бутылки он нес в матерчатой замызганной сумке, хлеб на ходу жевал и отплевывался: на зубах скрипел песок - кусок хлеба ему попался замусоренный.

До самого полудня Романыч ходил по дворам в поисках бутылок. Потом он их сдал. Вырученных денег хватило только на две бутылки пива. Пиво он выпил в каком-то заброшенном дворике, усевшись под пыльными кустами в тени. Выпив пиво, он достал из кармана своего засаленного пиджака горсть разнообразных окурков, выбрал из них который побольше, почище и задымил с наслаждением.

Нынешний день был для Романыча неудачным: бутылок он собрал мало, из съестного не нашел почти ничего, после полудня потемнело, закапал дождик, и ему пришлось ходить по городу под дождиком.

... На следующий день Романычу повезло больше. Когда он проходил по какому-то двору мимо строящихся гаражей, незнакомый парень, забрасывающий в это время мусор в кузов своего

маленького грузовика, неожиданно позвал Романыча. Романыч, недовольный, что его отвлекают от дела, подошел. Парень попросил Романыча помочь ему загрузить мусор и заверил, что рассчитается с ним как положено.

Романыч раздумчиво зачесал затылок, помялся и, наконец, согласился. Пока Романыч работал лопатой, парень сходил за поллитровкой. Романыч выпил немного водки прямо из горлышка. Потом парень попросил Романыча съездить с ним на городскую свалку - уж заодно - и помочь ему выгрузить мусор - за дополнительное вознаграждение, конечно. Романыч согласился с условием, что парень купит ему дополнительно еще бутылку водки и на закуску хлеба и селедки. Ударили по рукам и поехали на свалку.

Проехав по городу, они скоро выехали на шоссе, и глазам Романыча открылись просторы родной его земли. Давно он не видел этих просторов: голубые дали неба, зеленые дали лугов и полей.

- Люблю, когда перед глазами такой вот простор, - сказал вдруг Романыч.

- Да? А сам, небось, из подвала не вылезает? - сказал на это сидящий за рулем молодой человек.

- Это точно, - ответил Романыч. - Потому и люблю простор, что из подвала не вылезает: замкнутое пространство располагает к полету мечты. Люблю, когда вокруг широко и полно воздуха, а жить хочу в подвале. В таком пространстве легко

затеряться, утонуть, пропасть, сойти с ума. В подвале же как-то уютно и спокойней: не боишься, что заблудишься.

Парень внимательно посмотрел на Романыча и ничего не сказал.

Вот, наконец, и свалка. Вороны с громким карканьем кружили над свалкой, как черные бомбардировщики. Тут и там из недр мусора поднимались в небо столбы дыма, как на пожарище. Тут и там на свалке среди мусора виднелись кучки людей.

Люди копались в мусоре под громкое карканье ворон, дыша зловонием и гарью, которыми обдавал их дующий порывами со стороны сопки и заброшенных карьеров влажный ветер.

Когда, отмахиваясь от липнувших к нему злых мух, Романыч сбрасывал с кузова грузовичка мусор, к машине подошли несколько обитателей свалки: грязных, закопченных людей. Увидев, что ничего интересного для них Романыч не скидывает, ушли восвояси - рыться в других кучах. При том на свалку приехал очередной мусоровоз, а мусоровозы, как известно, главные поставщики всяких ценностей для нищих людей, собирающихся на свалке....

Все ушли, но один задержался. Серый, закопченный, с лицом сморщенным, испитым, неопределенного возраста - в общем - человек со свалки.



- Романыч, дружище, здорово! - поздоровался он с Романычем, который уже смотрел на него во все глаза, узнав в человеке со свалки своего давнего приятеля.

- Ты ли это, Егор Тимофеич? - спросил Романыч, отставив лопату. - Ты ли это, Егор, или не ты?

- Я, Романыч, я. Неужто меня так трудно стало узнать?

- Я узнаю тебя с трудом, Егор.

-И ты изменился сильно, - сказал человек со свалки. -Постарел.

-Ты здесь живешь, что ли, Егор? На этом просторе?

-Живу, Романыч. Как видишь, вот он-я. Романыч даже прослезился, услышав такое. Тут он вдруг постучал в боковое окно грузовичка и обратился к сидящему в кабине молодому человеку:

-Эй, браток! Подай-ка мою сумочку с твоим угощением сюда.

Парень высунулся из кабины и падал Романычу его сумку. Романыч взял сумку и протянул ее человеку со свалки. Сказал кротко:

- Вот возьми, Егор. Это тебе от меня, подарок вроде.

Человек со свалки глянул в сумку, улыбнулся смущенно.

- Разбогател, значит, Романыч? - проговорил он - Работаешь.... Ну, дай Бог тебе всего хорошего, -

сказал еще человек со свалки и торопливо пошел от Романыча прочь.

Когда выезжали со свалки, парень за рулем спросил у • призадумавшегося о чем-то Романыча:

- Этот, что на свалке, приятель твой?

- Да, приятель мой бывший, - ответил Романыч. - Вот до чего его довела жизнь. На свалке живет. Пропал человек....

- Так ведь ты от него недалеко ушел, - сказал на это молодой человек и вырулил на шоссе, ведущее к городу. - Смотри, сам там будешь, - добавил он, немного погодя.

- Да. В жизни все возможно, - ответил Романыч и больше уже ничего не говорил, до самого города сидел молча...

## **МАЛЬЧИК КОЛЯ И ЕГО ДОЛЯ.** **(из истории жизни Коли Иванова)**

### *Часть I*

День стоял солнечный, яркий, морозный. Группка мальчуганов грязных, неухоженных, с неумытыми лицами, покопавшись в контейнерах с мусором, пристроилась возле кирпичного закопченного забора покурить. Я в то время занимался уборкой двора и обратил внимание на одного из этих мальчишек. Он был одет почище других и с лицом смышленным, но грустным - грустным. Я заметил, что, когда пацаны задымили сигаретами, он отмахнулся от дыма, закашлялся и отошел от них в сторону. Видно было, что он пока еще не научился курить, табачный дым ему был неприятен. Отойдя в сторону, мальчик затоптался на месте, точно не зная, что ему делать, куда идти. Я подошел к нему и заговорил. Разговорившись с мальчиком, я узнал от него историю его жизни и хочу поведать ее вам.

Мальчика звали Колей. Живет он с отчимом и матерью, которая сейчас находится в больнице. Отчим его пьет, пропил даже новый школьный костюмчик мальчика. Этот школьный костюм мать мальчика купила ему на с трудом скопленные деньги перед самым началом учебного года. Лишившись костюма, мальчик теперь не ходил в школу, потому что в повседневной одежде - не совсем опрятной,

застиранной - ему ходить на уроки было стыдно и неловко. Неловко - перед учителями, стыдно - перед своими одноклассниками. Но отчим гнал его по утрам в школу, и мальчик уходил из дома под видом, будто он уходит на занятия, однако в школе он не появлялся: бродил, где придется, часто мерз на улице, голодал.

Однажды, бродяжничая, он почувствовал себя таким одиноким, таким заброшенным, таким несчастным, что бросился в больницу к матери, чтобы пожаловаться ей на свою несчастную жизнь, на свою горькую долю.

Мать лежала в больнице в светлой палате. Коля вошел в палату в сопровождении больничной сестры. Мать лежала на койке у окна. Она выглядела плохо: похудевшая, осунувшаяся, измученная болезнью. Коля бросился к ней и заплакал. Он плакал долго, громко. Он жаловался матери на отчима, рассказал, что не ходит в школу, что пропадает без нее. Мать утешала его, говорила, что обязательно выздоровеет и не оставит его одного на свете. Но мальчик знал, что она больна неизлечимо, что она обречена и скоро - скоро оставит его на земле одного, и поэтому был безутешен..

Из больницы мальчик вышел заплаканный, с отчаянием в сердце. Тут и подвернулась ему группка мальчишек - бродяжек. Он им сказал, почему он плачет. Мальчишки его пожалели и приняли в свою

компанию. И с этого времени Коля целые дни проводил с ними.

- Не обижают они тебя ? -спросил я Колю.

- Нет, не обижают, дядя, - ответил мальчик. - Но они, как беспризорные курят и матерятся. А мама мне наказала, чтобы я не учился курить и с беспризорными не связывался. Но у меня нет других друзей, и они совсем неплохие. Правда, воруют и курят, но такая уж у них жизнь, такая у них доля. И ничего уже тут не поделаешь, - с ноткой обреченности в голосе закончил он наш разговор.

Невесело мне было все это слышать от мальчика лет десяти -двенадцати. И мне тогда подумалось о дальнейшей его судьбе. Что ждет его впереди? Кто о нем позаботится? Кто его выведет на дорогу большой взрослой жизни? И каким человеком он ступит на эту дорогу - надломленным, с болью в душе, ожесточившимся, отчаявшимся, несчастным? Этот вопрос для меня остается без ответа.

## *Часть 2*

Однажды Коля проходил мимо детского сада, куда его когда-то водила мать. Во дворе детского сада было тихо и пусто. Было время тихого часа и детей во дворе не было - не видеть, не слышать. Коля вошел через незапертую калитку во двор, посидел в беседке, потом залез на горку и скатился с нее вниз. Скатившись с горки, он поднялся на ноги и тут

обратил внимание на тихий звон льдинок-игрушек, развешенных на деревьях рядом с горкой. Льдинки были разноцветные: розовые, красные, зеленые, желтые. Они сверкали на солнце. Иногда их покачивал ветер и, раскачиваясь, льдинки - игрушки ударялись друг о дружку и звенели тонко, мелодично.

Эти игрушки намораживали из подкрашенной воды под руководством воспитательницы сами дети и развешивали при помощи замороженных в игрушки ниточек-петелек на веточки деревьев накануне Нового года, как украшения. Коля знал это и сейчас, глядя на эти игрушки из льда, вспомнил, как хорошо и весело было в детском саду жить, и как там всегда шумно и весело праздновали приход Нового года. И тут он подумал, как у него в жизни сейчас все плохо, и ему захотелось заплакать.

... В эту самую минуту воспитательница детского сада Анна Герасимовна стояла у окна и смотрела во двор. Гуляющий во дворе мальчик привлек ее внимание. Он показался ей знакомым, и вскоре она его узнала. "Да это же Коля Иванов!" - сказала она себе. Коля, в свою очередь, заметил стоявшую у окна воспитательницу и, подбежав к окну, закричал:

- Анна Герасимовна! Анна Герасимовна!  
Здравствуйте, я вас узнал!

Анна Герасимовна вышла на улицу поговорить с мальчиком. На глазах у мальчика блестели слезы радости. Он прижался к ее ногам. Воспитательница погладила его по плечу и спросила:

- Что случилось? Ты плачешь? Ты рад нашей встрече?

- Анна Герасимовна, как давно я вас не видел! - крикнул мальчик. - Я всегда вспоминал вас и наш детский сад! Вы добрая, и в детском саду было так хорошо! Я всегда о нем вспоминаю и люблю его!

- Ты продрог? Как ты дрожишь! - сказала Анна Герасимовна. - Пойдем, пойдем в помещение. Будешь нашим гостем.

...Когда они сидели в светлой детсадовской столовой, мальчик рассказал своей воспитательнице Анне Герасимовне о своей нынешней жизни. Анна Герасимовна, слушая мальчика, только покачивала головой, сочувствуя ему и сопереживая.

- Ах, ты, несчастный! - вырвалось у нее один раз. - Что же мне теперь с тобой, таким, делать? Мама твоя, значит, в больнице? И в школу ты не ходишь? Беда, беда, просто беда...! Так жить тебе больше нельзя. Будешь ходить ко мне в гости. Стану о тебе заботиться. А что нам с тобой делать дальше, видно будет. Пока же побудь у нас, погости, а вечером вместе со мной пойдешь ко мне домой. У меня дома тепло и уютно. Ты согласен?

-Вы добрая! - крикнул мальчик. - У меня теперь никого кроме вас нету. Ведь мама моя скоро умрет.

...И он заплакал.

Вечером из детского сада вышла Анна Герасимовна. С ней шел мальчик Коля. Коля улыбался. Он был счастлив.

### Часть 3

Мама умерла в больнице. О том, что она умерла мне сообщил отчим. Это известие было для меня настоящим потрясением: я вдруг осознал, что остался совершенно один на земле - сиротой.

Когда маму хоронили, была первая этой зимой оттепель. Пахло весенним теплом. Но меня это мало радовало. Солнце мне казалось черным. Мир непонятно для чего существующим. Люди непонятно для чего на земле живущие. "Если все в конечном итоге, забирает смерть, то для чего тогда и на свет рождаться?" - думал я, став вдруг серьезным, думающим.

Маму похоронили за городом на новом кладбище. На этом кладбище стояло всего два ряда надгробий с венками, прислоненными к ним. Среди этих надгробий и венков кружил прошлогоднюю листву пахнувший весной ветер, который налетал из широкой, с редкими деревьями, степи, где еще лежал местами снег.

После похорон прошло несколько дней. И вот однажды я был дома и сидел у окна. За окном на улице уже наступил вечер, и там стоял крепкий мороз, и посвистывал ледяной ветер. Он осыпал стекла снежной пылью. Вдруг о стекло что-то ударилось и забило на карнизе. Это просился домой голубь. От сильного ветра голубь с трудом



удерживался на карнизе и, казалось, что его вот-вот сдует... И тут мне подумалось о душе моей мамы. Она мне рассказывала, что в каждом человеке живет душа, и, когда человек умирает, душа покидает его и улетает на небо. Но перед тем, как улететь навсегда на небо, душа умершего человека навещает родных своих людей, чтобы проститься с ними навечно...

"Это душа моей мамы. Она навестила меня", - сказал я себе. И я закричал: - Мама! Родная моя! Мне без тебя тяжело жить! Не улетай!

Тут в окно ударило ветром, и голубь, трепеща, соскользнул с карниза вниз.

-Держись, мама! - крикнул я. - Я бегу тебе на помощь!

Я выбежал на улицу. На улице бесновалась пурга. Лицо мне обдало ледяным ветром, глаза запорошило снегом. Но голубя я скоро нашел. Он сидел под нашим балконом, прижавшись к кирпичной стене. Он замерзал, обессиленный борьбой с ветром и лишенный укрытия.

Этого голубя я принес домой. И с этого дня он стал у меня жить. От отчима я его прятал под своей кроватью, поил, кормил и все ждал подходящего дня, когда можно будет выпустить его на волю. Но однажды мой отчим чуть было его не съел. Он случайно увидел голубя и заявил, что сварит из него суп.

- Разве можно из голубя варить суп? - спросил я.

- Еще как можно. И суп из него будет превкусный, - сказал отчим.

- Я не дам варить из голубя суп! Он мой! Он прилетел ко мне! Это душа моей мамы! Она прилетела навестить меня? Она замерзла, но я ее спас. А вы хотите его, моего голубя, съесть!? Съесть душу моей мамы?! - так я сказал тогда моему отчиму.

- Кажется, ты начинаешь сходить с ума, - сказал на это отчим и отстал от меня.

... А совсем недавно я возвращался из школы домой. Я ходил в школу благодаря Анне Герасимовне, воспитательнице из детского сада, ставшей обо мне заботиться и купившей мне школьный костюмчик. Да, шел из школы домой и вдруг увидел в небе кружащую стаю голубей. День стоял солнечный, теплый - была оттепель. Стайка голубей купалась в весеннем небе. Я засмотрелся на нее. И вдруг мне стукнуло в голову: надо сейчас же выпустить на волю моего голубя. Он полетит. Он примкнет к этой стае и не будет тогда одиноким. Он познакомится с другими голубями и станет жить на свободе, как живут все голуби.

Я прибежал домой и вынес моего голубя на улицу. Я выпустил его из рук, и он полетел прямо в небо.

Так душа моей мамы поднялась в небо. Я был рад за нее. Даже больше: в ту минуту я был по-настоящему счастлив - первый раз за долгое время.

## НЕ УМЕРЕТЬ В НОЧЛЕЖКЕ

Мать легла поздно, а Сергей Антонов, сын ее, давно уже валялся в постели, отключившись, потому что пришел домой опять пьяный. Когда на следующий день утром Сергей проснулся, матери уже не было дома: она всегда уходила на работу рано. Он лежал и слушал, как за окном что-то шумит. Сергей внимательно прислушивался, пока, наконец, не догадался, что это просто ветер. Голова у него слегка побаливала. Но это было бы ничего, пустяки, если бы не прогрессирующее в нем с каждой минутой чувство отчаяния.

«Пропадаю, — произнес он про себя втемяшившееся ему с некоторой поры в голову слово. — Погибаю...» И неподвижным взглядом уставился на окно, за которым стоял бледный свет начавшегося дня и шумел заблудившийся на улице теплый ветер.

«Пропадаю!» Сергей осознал, что пропадать начал не так давно—с тех пор, как ему в руки попала фотокарточка, на которой был он сам в год окончания школы. С этой фотографии на него смотрел молодой человек с продолговатым лицом, хорошо очерченным подбородком. С карточкой в руке Сергей бросился к зеркалу. И все в нем похолодело: он изменился страшно.

Тогда-то впервые он и произнес это слово — «пропадаю». И с того дня оно навязчиво лезло ему в

голову, беспокоило, мучило. И сейчас, лежа в постели, он который уже раз повторил это слово.

В это время с улицы в дверь дома кто-то торкнулся. Потом постучали в окно.

— Серега, ты дома? — раздалось с улицы. И опять: — Серега! Открывай!

«Не буду открывать никому, — сказал себе Сергей. — Пусть стучат хоть до вечера. Надоели. Водку пусть пьют с другими. А я больше не стану».

Дверь он так никому и не открыл, решив совсем не выходить сегодня из дома.

На следующее утро мать Сергея, собравшаяся уже на работу, подошла к постели сына. Посмотрела на проснувшегося Сергея, спросила:

— Вчера пролежал весь день дома? И не выходил на улицу? Не заболел ли?

— Я не выходил из дома. Но я, не заболел, — ответил Сергей.

— Как у тебя дела на заводе?

— По-прежнему. Завод не работает. Я в бессрочном отпуске.

— Заводы стоят, работы нет. У меня же работы с каждым днем прибавляется, — сказала мать и ушла на кухню. Она работала в морге.

Мать ушла. Сергей поднялся и открыл форточку. В лицо ему пахнуло свежим воздухом уже разгулявшегося утра. Но грустное было оно для человека, лишенного душевного покоя и

мучающегося своей неустроенностью в жизни. Но, как бы там ни было, надо было жить.

Сергей с матерью жили в деревянном доме, разделенном на несколько квартир, на городской окраине, улице тихой и пыльной. Сегодня ветра не было и пыль на улице не клубилась. После завтрака Сергей вышел на улицу — прогуляться. Но направился не туда, где он мог встретиться со своими приятелями, а совсем в другую сторону. Он шёл и думал о том, что жизнь его не сложилась так, как когда-то задумывалось: он так и не привел в дом невесту, как обещал матери. «Завод закрыт. Работы нет. Только и остается, что умереть и отправиться прямо в морг к матери...», — усмехнулся Сергей про себя.

В это время он проходил мимо трех стоящих рядом вдоль улицы черных, приземистых двухэтажных барачных построек, навверное, еще до войны. Какой-то бородатый пьяный мужик сидел на крыльце второго барака и молча курил. Проходя мимо, Антонов невольно посмотрел на него и, когда взгляды их встретились, заметил, как на губах незнакомого ему человека промелькнула улыбка. Антонов отвел от него глаза и пошел было дальше, как вдруг услышал:

— Сергей Антонов, не проходи мимо, не поздоровавшись. Сергей остановился. Вгляделся в бородатого человека. Тот выглядел стариком, был плохо одет, одежда на нем была грязная. Видно было,

что постригался он очень редко, а брился еще реже. Нет, этот человек был ему совершенно незнаком. Тогда откуда он знает его имя и так запросто к нему обращается?

— Вижу, не узнаешь. Я Евгений Кротов. Мы вместе учились в школе, даже были с тобой одно время товарищами. Ну, узнал?

— Ты — Кротов? — удивленно спросил Антонов, и у него невольно вырвалось: — Как ты изменился... Стал совсем старый.

— Так ведь и ты выглядишь не совсем молодо, — засмеялся Кротов, показав свои желтые от никотина зубы.

Кротов пригласил Сергея зайти к нему домой. Антонову было неудобно отказаться, и он, повинувшись законам приличия, пошел за Кротовым. Нынешний Кротов ему не нравился. А вот тот, прошлый, какого он знал когда-то, был замечательным парнем, хотя и со странностями. Ступая за ним в темный подъезд барака, Антонов тоскливо подумал о том, что человеческие пороки загубили немало человеческих душ. И вот обнаружилась для него еще одна такая погибающая душа. «Пьет этот Кротов, по всему видно, крепко, — думал Антонов. — Не надо бы с ним связываться. Сейчас обязательно предложит выпить за встречу. Но я постараюсь не пить. Кто выдумал это — обязательно пить за здоровье, за встречу, за расставание, в праздники, на похоронах?»

Квартира, в которой жил Кротов, была однокомнатной. Это была даже не квартира, а какая-то конура, ночлежка. Название ночлежки она оправдывала потому, что, когда они вошли в нее, там на грязной кушетке валялся какой-то парень, по всему видно, пьяный. Другой сидел на стуле, сильно наклонившись вперед, держась за голову руками и уперев локти в колени. Всюду было невероятно грязно. У окна с растресканными пыльными стеклами стоял маленький стол. На столе — бутылки, невымытые тарелки, окурки и всякая дрянь. Да, это была настоящая, запущенная до предела ночлежка.

Кротов указал Антонову на стул за столом у окна, а сам приподнял сидящего на другом стуле парня, посадил его на кушетку, на которой валялся другой парень, и тоже уселся. Антонов внимательно смотрел на Кротова. Тот наклонился и стал шарить под столом. Достал бутылку водки, сдвинул вместе два стакана, налил. «Он даже не спрашивает, буду ли я пить, — подумал Антонов. — Точно это в порядке вещей, вечная традиция, которую нельзя нарушать».

— За встречу, — сказал Кротов и тягуче выпил водку. Антонова передернуло. Он отодвинул от себя стакан, сказал:

— Я не буду. Бросил. Гиблое это дело — пьянство.

— Вот это истина! Просветитель! Такие истины внушают учителя своим малолетним ученикам, — насмешливо проговорил Кротов без тени обиды на

Сергея. - Ну не пей, мне больше достанется. Да вот, насчет учителей. Помнится, ты хотел стать учителем. Учителем младших классов.

— Верно. Именно младших, когда в ребенке только еще все начинает формироваться, когда только и можно привить ему любовь к познанию мира. Не получилось: не прошел по конкурсу. Потом — служба в армии. После армии пошел работать. А что произошло с тобой, Кротов? Помнится, ты сочинял стихи, и мы, одноклассники, называли тебя нашим поэтом. Учился ты, правда, неважно...

Кротов выпил еще.

— Я просто ошибся. Слишком много о себе воображал и потерпел крушение. Я писал стихи и действительно мечтал стать поэтом. Но дарования у меня не было. Это было тогда обычным юношеским порывом, и только. После школы я это понял и, хотя стихи писать не бросил, осознал, что они пустяковые, только и годятся для школьной стенгазеты среди карикатур на двоечников. Это была моя личная трагедия. Но надо было как-то жить, я пошел работать на стройку. Удовольствия от работы не испытывал. Стал с горя пить. Женился. Заимел двоих детей. Развелся. Квартиру с женой поделили. Свою я продал и взамен получил вот эту дыру, где и обитаю по сей день. Это не квартира — забегаловка, сюда каждый день кто-нибудь забегает. Этим и пользуюсь: пью и ем за счет незваных гостей. Сегодня — эти, —



Кротов показал на двух пьяных на кушетке, - завтра другие. Так и живу.

— Ты, наверное, и коноплей балуешься? Здесь пахнет ею. Небось и колешься?

— Эти уже укололись. Ты не пробовал?

— Нет.

— Хочешь?

— Никогда в жизни.

— А я без этого — мертвый, — сказал Кротов, еще выпил и медленно повалился на пол.

Сергею стало страшно. Точно из склепа, какого-то глубокого подземелья, куда не проникает солнечный свет, вышел он на улицу, глубоко вдохнул свежего уличного воздуха и направился к своему дому. Был уже полдень. Солнце висело высоко, небо сияло голубизной.

— Если не брошу пить, задохнусь в какой-нибудь грязной, вроде этой, ночлежке, — произнес Антонов вслух, словно обращаясь к кому-то;

— А Кротов пропал. Из болота его уже не вытащить.

Мысли о Кротове и ему подобных пропадающих людях несколько дней досаждали Сергею, не давая ему сосредоточиться на его личных делах. Но водку он больше не пил и встреч со своими приятелями избегал. Даже прятался от них, еще не уверенный, что может выдержать характер до конца.

...Вот он, Сергей Антонов, герой моего рассказа, невыдуманное, реальное лицо, сидит на крыльце

своего дома и курит. Докурив сигарету, он бросает ее на землю и через минуту закуривает другую: не может остановиться — нервы.

Утро сегодня замечательное. Ласково светит солнышко. Улица, как всегда в это время, пустынна — ведь здесь окраина города.

«Что же делать мне? Как жить? — думает Сергей. — Завод не работает. Дела интересного нет. От этого безделья можно не только спиться, но и с жизнью распрощаться. Словно ты совершенно никому не нужен. Выброшен из жизни - бесповоротно, окончательно, на веки веков. Как я понимаю этого Кротова и ему подобных. В жизни они не видели радости, не нашли счастья, и вот финал: пьянство, наркотики, мрак...»

Сергей тяжело вздохнул и вдруг съежился, опустил голову: на противоположной стороне улицы он увидел идущего по тротуару одного из своих, избегаемых им ныне, приятелей — Пашку. С сумкой, в шляпе и с лицом пропойцы.

— Серега, привет! — крикнул Пашка. — Что-то тебя давно не видать! Со Славкой не встречался? У него сегодня день рождения. Приглашает. Так что приходи!

Сергей поднялся, разогнул спину и долго смотрел в ту сторону, куда пропылил Пашка. Опять закурил. Сделал шаг от крыльца и остановился в раздумье. «Пьянство, как вечное искушение, — так и

норовит сцапать, — думал он. — У Славки Заревского именины. Значит, попойка. Не пойду!»

Но вот наступил вечер. Сергей надел свои праздничные рубашку и брюки, сменил обувь. Вынул из шкафа почти новый пиджак и надел его. Этот пиджак он надевал только по торжественным дням. И сегодня надел. Подарок для Славки он уже приготовил — две новые книги, завернутые в бумагу и перевязанные красным шнурком. Он знал, что Славка книг не читает, но решил подарить ему именно книги. Когда Сергей уже выходил из дома, он вдруг остановился в дверях в раздумье. «Разоделся, как жених... А там будет обычная попойка, только название — именины. Не хватает только букета цветов».

Он вернулся домой, снял парадный пиджак, надел повседневный, сунул под мышку сверток с книгами и направился к Славке. Пока шел до дома, в котором тот жил, выкурил не одну сигарету.

Поднялся по замусоренной лестнице. Позвонил. Дверь открыла старшая сестра Славки — Надежда. Из комнаты пахло табачным дымом.

— Я только на минуту, — поспешно, запинаясь, сказал Сергей, обращаясь к Надежде; — Слава дома?

— Сейчас позову, — сказала сестра Славки. — Слава! Серега пришел, а входить не хочет!

— Надежда, вот — передай Славе от меня подарок, а я уйду. Некогда. Срочное дело. Не могу задерживаться. Хоть убей, не могу.

— Да ты хотя бы зашел да выпил...

Но Антонов уже сбегал по лестнице вниз.

Он вышел на набережную. Посмотрел на небо, на реку и пошел по вечерней набережной, размышляя о своих житейских проблемах...

## ПРОСТИ, БРАТ

### Рассказ неизвестного

Время такое, что во всем приходится сомневаться. Особенно в последние годы. Все-все приходится сейчас переоценивать. Даже свои поступки, совершенные в прошлом. Голова идет кругом от этого и душа не на месте.

И вот я сейчас думаю, что мне обязательно надо помириться с моим старшим братом, с которым я уже много лет нахожусь в ссоре, хотя, по зрелому размышлению, он не сделал мне ничего плохого. Даже наоборот, много хорошего для меня сделал. Ну а я как его отблагодарил за это, чем ему отплатил? Одной неблагодарностью.

А ведь это он, мой старший брат, забрал меня из детдома, куда меня сдали в свое время мои непутевые родители и где я провел годы моей жизни. Правда, забирать меня из детдома, кроме него, больше было некому, потому что родителей моих к тому времени уже в живых не было: пьяница отец убил мать, а потом и сам погиб в заключении (как говорили, его на лесопилке бревном придавило). Но ведь старший брат мог бы и не брать меня из детдома. Однако же взял. Потому что я у него один остался на свете из близких родственников, кто был одной с ним крови. Вот поэтому он и взял меня к себе и цацкался со мной столько времени.

Брат мой тогда жил с женой и больной, слабой старухой, матерью жены его, с тещей своей, значит. А эта старуха была человеком по-настоящему верующим в Христа. В комнатке у нее висела икона, и даже лампадка зажигалась в праздники церковные. Как помню, была у нее и толстая книга — Библия. И вот в первый год моей жизни у брата я стащил из комнаты больной старухи ее икону и разбил на куски. Хотел и Библию ее утащить и куда-нибудь засунуть, но передумал. А утащить Библию и выбросить я тогда вполне был способен. Я ведь уже пионером был, даже, кажется, комсомольцем — сейчас точно не помню, и в детдоме меня так выдрессировали в этом коммунистическом духе, что один взгляд на икону, Библию и молящуюся старуху во мне вызывал злость и неприятие.

Был я тогда парнишкой упрямым, злым, обиженным жизнью и у меня вполне хватало духа высмеять старуху и расколотить ее икону. Конечно, за совершенное мне пришлось тогда поплатиться: брат, хотя и был человеком мирным и добродушным, меня слегка поколотил. И я этим был так обижен, что запомнил нанесенную мне обиду на всю жизнь и долго носил ее в своем сердце. Злопамятный такой был. Больная же старуха в том же году померла, и ее похоронили. Бедная старуха.

Это я об одном злочючении моем рассказал. Сейчас расскажу о другом, что дальше со мной было.

Учиться я долго не стал, а стал работать на заводе. На этот завод меня устроил брат, потому что он меня тогда опекал и возился со мной. И вот, когда я на заводе уже работал профессионально, я встретил молодую женщину, с которой сошелся близко, стал водить ее к себе домой и в конце концов решил на ней жениться. Невеста моя моему брату и его жене сразу не понравилась, и они ее невзлюбили. Особенно братова жена в этом усердствовала. Она была категорически против того, чтобы мы жили вместе в одном доме. Брат тоже был против, но его протест был не столь активным. И вот хватило же у меня в то время нахальства потребовать раздела дома, коли уж они были против совместного нашего проживания. Братова жена была возмущена до предела, а брат в конце концов пошел на уступки: согласился с тем, что я со своей женой буду жить в одном с ними доме. И стали мы все жить в одном доме. Две семьи. Ничего хорошего из этого, конечно, не получилось: вечно моя жена и жена брата вздорили, и я частенько принимал в этом участие. А кончилась моя семейная жизнь тем, что я свою жену из дома выгнал, застав ее однажды любезничающей в обнимку с одним местным пройдохой.

Все в моей жизни после этого пошло кувырком. Я стал пьянствовать, не бывать дома. И дошел до того, что бросил работу и ничего не делал. И все это словно бы в отместку старшему брату за то, что жизнь у меня не пошла. Непонятно, но это, кажется,

было так. Я ведь у брата был одним-единственным близким родственником и был ему поэтому очень нужен. Я это чувствовал и использовал: мучил его, тайно издевался, своим упрямством, дерзостью, своеволием досаждал, точно он меня чем-то раз и навсегда, на всю жизнь, сильно обидел. В общем, придурком я тогда был.

Однажды после долгого семейного разговора, скандала, которые у нас стали возникать постоянно, я вышел из себя и заявил, что если они, так называемые родственники, попрекают меня куском хлеба, если они считают, что их дом — это не мой дом, то я могу и уйти. И ушел, громко хлопнув дверью, рассерженный, злой и — смешно вспомнить — обиженный.

Весь остаток дня я проболтался в городе. Ночь провел в парке на скамейке. С утра следующего дня напился и где-то в какой-то квартире провалялся весь день на кушетке. И все это время злорадно думал, что вот, мол, я тут мучаюсь, пропадаю, а мой брат об этом наверняка знает и переживает за меня и тоже мучится. «И пусть мучится, — думал я. — Так ему и надо». Очнулся я в тот день уже на закате. Оказалось, что я валялся на кушетке у одного моего приятеля, который тоже был смертельно пьян.

...А потом вдруг приходит милиция и арестовывает меня, обвинив в том, что я разбил какую-то там витрину магазина и ударил кого-то по голове камнем, А я думал тогда, что это мне



приснилось: и то, как витрину разбил, и то, как кого-то камнем ударил. В общем, было умопомрачение у меня какое-то тогда.

...Был суд. Осудили. Дали хороший срок. Отсидел. Вышел. Сейчас давно уже на свободе. Но что здесь интересно: все это время — и тогда, когда меня судили, и когда объявляли приговор, и когда я срок отбывал — я упорно считал, что во всех моих несчастьях виноват мой старший брат. Не мать и отец, а именно брат. Почему так было, я не знаю. Но думал я уже без злорадства, а с тоской, считая себя человеком несчастным и непоправимо пропавшим.

А в чем, спрашивается, брат был виноват передо мной? В том, что из детдома взял? В том, что возился со мной столько лет? В том, что видел во мне родную ему душу и хотел, чтоб я всегда жил с ним рядом?

И вот пришло для меня время сознаться, что я был глупым и бездушным человеком по отношению к нему, моему старшему брату, и что не он виноват передо мной, а я перед ним. Во всем! Я отвергал его привязанность ко мне. Я мучил его своим упрямством и бездушием. Я сделал его одиноким, без родной души рядом, каковой он считал меня, своего брата кровного. Я виноват перед ним непоправимо. И вот я прошу теперь у него прощения.

Раскаялся я, брат. Прозрение пришло. Поздно слишком оно пришло, правда, но пришло. Роднее тебя человека у меня на земле нет. Ты мне нужен.

Прости, брат. Надеюсь, что мы скоро увидимся и окончательно помиримся. И тогда наше с тобой братство будет вечным. Так Бог велел.

## МНЕ НЕЧЕГО СТЫДИТЬСЯ

### Рассказ старика

Старые, усталые, натруженные мои руки. Кажется, покажи эти руки людям и они сразу признают во мне порядочного человека, ветерана войны и труда. Но только не мои внуки и правнуки. В последнее время у меня с ними не ладится. Видите ли, они стали в последнее время сомневаться в моей порядочности, в безукоризненности моего прошлого, в котором я столько выстрадал. Как будто не знают, в какое время я жил, в какие переломные для нашей страны годы воевал и работал. И вот я, заслуженный, доживший до преклонного возраста человек, должен выслушивать такое. Хотя бы старость мою пожалели, если уж на то пошло, хотя бы не бередили мои раны.

Спрашивают, наивные: принимал ли я участие в разрушении церквей, соборов? Отвечаю: «Да, я принимал в этом участие». Постольку, поскольку мне это делать приказывали. Не по своей же воле я это делал, не отсебятину же порол, как говорится. Нам было сказано: религия — это опиум для народа и с ней надо бороться ради нашего светлого будущего. И мы, такие, как я, с ней боролись. Самым решительным образом. Так что нечего мне стыдиться и бояться осуждения за это. Это была борьба нового со старым. И я принимал в этой борьбе участие вполне сознавая, что делаю. Но все же — только выполняя приказы, постановления.

Спрашивают меня: принимал ли я участие в раскулачивании, в реквизиции у крестьян продовольствия? Да, я принимал в этом участие. Постольку, поскольку это было необходимо.

Спрашивают меня: пришлось ли мне тогда кого-нибудь убить — лично? Да, мне пришлось тогда убить одного человека, кулака. Лично. Того, который бросился на моего товарища красноармейца с топором и убил бы его, наверняка убил, но тот вовремя двинул его прикладом, а я, тогда молодой еще человек, совсем парнишка, не сдержался и выстрелил в него из нагана. Два раза. Убил, конечно.

Они, родственники, добиваются от меня покаяния. Как будто я преступник какой-нибудь.

Я никогда ничего не делал плохого, говорю я им. Я только выполнял приказы. Всю жизнь я только выполнял приказы. И даже во время войны. С чувством ненависти к врагу и страха, естественного на войне, но — приказы. Потому что я был всю жизнь солдатом. И нечего больше об этом говорить. Потому что голос моей совести мне говорит, что я чист.

## СВЯТА ЛИ НАША ПАМЯТЬ?

Кому-то сегодня должно быть стыдно за разрушенные церкви Благовещенска, за запустение старого Вознесенского кладбища. Наверное, голос совести говорит этому человеку, что он был не прав, что строительство гаражей на территории кладбища — кощунство. Ведь, возможно, жив он, принимавший решение о разрушении кладбища. Каяться ему надо бы за содеянное.

Где были могилы купцов, дворян и военных царской России, стоят невзрачного вида гаражи, постройки советского периода. Люди топчут прах своих предков, даже не задумываясь, что это безнравственно. Такое уж все мы получили воспитание, так у нас принято относиться к памяти дореволюционного прошлого России, ее деятелей. К могилам «царских сатрапов» — с презрением и даже ненавистью. Как будто тогда были только грязь и подлость.

Таких людей я никогда не понимал, для них история страны начинается с революции 17-го года, а об ее более раннем периоде они и знать не желают. Знаю я нескольких таких людей, старых, проживших долгую жизнь. Истых сталинистов, приверженцев идей и догм прошлого. Людей крепких, с характером. И не все из них коммунисты, скажу я вам. Воспитание с детства такими их сделало. И я их не осуждаю.

Но заметил, что они совершенно не хотят думать и рассуждать, менять свои взгляды даже под напором новых неопровержимых фактов, приоткрывающихся документов и свидетельств, доказывающих ошибочность многих их суждений о событиях недавнего прошлого. Они словно окостенели в своих привитых с детства и юности убеждениях.

О том времени мы только сейчас начинаем узнавать всю правду, нелицеприятную и горькую.

«Слава, слава, слава героям!!! Впрочем, им довольно воздали дани...», — восклицал когда-то Маяковский. Но только в последние годы по-настоящему и воздаются эти самые дани. По заслугам. История расставляет все по своим местам.

## ТОПОЛЯ

Утром рано я, дворник, работал - подметал. На улице было еще тихо. И вдруг мне стал слышен могучий шум тополей. Он звучал прямо над головой.

Я посмотрел на ряд серых арок, на большую арку у центрального входа в здание торгового центра, где я работаю, и вспомнил: когда-то на месте этих арок вдоль здания, которое было фабрикой, стояли высокие тополя. Так вот откуда был этот шум тополей: он вернулся ко мне слуховой галлюцинацией из прошлого.

Так из прошлого ко мне иногда приходят и люди. Они возникают в моей памяти настолько живо, что мне кажется - я их вижу и слышу, как наяву. Значит, бывшее во мне не умерло, оно во мне еще живет. Выкорчеваны тополя, умерли люди, в мире все изменилось, стало другим, но осталось само прошлое с тополями, людьми, событиями, когда-то происшедшими. Осталось, не кануло в вечность.